

18+

Чезаре Донати

---

**Бедная  
жизнь!**

Чезаре Донати  
**Бедная жизнь!**

«Издательские решения»

## **Донатти Ч.**

Бедная жизнь! / Ч. Донатти — «Издательские решения»,

Талантливый, но бедный композитор Маурицио Альдини влюбляется в Лавинию, дочь разорившегося аристократа. Отец насильно выдает её за богатого скрягу. Любовь, ревность, предательство, нищета и торжество искусства переплетаются в драматичной истории о жертвенности и силе гения, проходящего через унижения к посмертному признанию.

© Донатти Ч.

© Издательские решения

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ГЛАВА I. Дон Базилио              | 6  |
| ГЛАВА II. Визит                   | 9  |
| ГЛАВА III. На четвертом этаже     | 13 |
| ГЛАВА IV. Последствия встречи     | 18 |
| ГЛАВА V. Чечилия                  | 19 |
| ГЛАВА VI. Мать                    | 23 |
| Глава VII. Отец                   | 27 |
| ГЛАВА VIII. Старая курица         | 29 |
| ГЛАВА IX. Сердечные тайны         | 32 |
| ГЛАВА X. Приятное предложение     | 34 |
| ГЛАВА XI. Представление           | 41 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 44 |

# Бедная жизнь!

## Чезаре Донати

*Переводчик* Анастасия Егорова

© Чезаре Донати, 2026

© Анастасия Егорова, перевод, 2026

ISBN 978-5-0070-3030-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*Фердинандо Бозио.*

Посвящая тебе этот том, должен ли я бить в литавры, прицепляя к твоему имени полдюжины титулов, заканчивающихся на «тель», которые ты сумел заслужить деятельным умом и честной душой? Никак нет! Чтобы дать людям понять, что мы друзья и я этим дорожу, одного имени достаточно, и даже с избытком. Видишь? Десять лет назад (как летит время!), когда «Туринская газета» гостеприимно приютила эту мою работенку, называвшуюся тогда «Музыка и любовь», я не думал, что смогу иметь среди утешений моей жизни, которых так мало, еще и утешение твоей дорогой дружбы. И еще меньше я мог думать, что о сем труде спустя некоторое время ты выскажешь публичное суждение, чрезмерно ко мне благосклонное. Ныне он предстает перед тобой вновь, собранный в том, крещенный другим названием и подлатанный то там, то здесь. В конечном счете — и ты сам это увидишь — он тот же, что и прежде, ибо я неумелый костоправ, и мои уродцы, какими выходят из мозговой коробки, такими и остаются на всю жизнь. Что мне и нравится разъяснить, дабы предостеречь тебя: новый наряд романа ничуть не освобождает тебя от ноши, которую ты на себя взвалил, писав о нем в «Европейском обозрении». Теми несдержанными похвалами ты сделался тогда моим сообщником в литературном преступлении; и теперь, бедный Нандо, тебе придется расхлебывать. В следующий раз будь осмотрительнее при выборе писателей, которых хвалишь; для этого же случая лекарства нет, и если публика засвищет, готовься заранее получить свою долю свиста. С каковой тебя и оставляю, ибо, кажется, уже оглушил тебе уши.

Сердечный привет твоей доброй и милой Паолине, а тебе — рукопожатие

*от друга* Чезаре Донати.

Из дома, 4 июля 1874 года.

## ГЛАВА I. Дон Базилио

Одним дождливым осенним вечером 1860 года дон Базилио сидел запершись в большой комнате на первом этаже палаццо Галлиполи, которую он занимал много лет и которая служила ему и жильем, и мастерской. Дон Базилио в момент, о котором мы пишем, восседал на грубом деревянном столе, скрестив ноги как турецкий паша. Из лица его едва можно было разглядеть широкий беззубый рот с бледным острым подбородком. Так что профессор Лафатер, царство ему небесное, изрядно бы потрудился, судя по таким крохам о задатках человека.

Широкий козырек из папье-маше, выкрашенный зеленым и прилаженный к затылку, скрывал не только лоб дона Базилио, но также глаза и нос. Впрочем, эта предосторожность была вполне разумна, и если она хромала с эстетической стороны, то со стороны себялюбия не давала ни трещинки. Ибо без этого бумажного щита дон Базилио рисковал бы ослепнуть от граней света, которые отбрасывало керосиновое пламя, пылавшее посреди стола. Тем более что он должен был следить глазами за иглой, сшивавшей куски старого синего сукна, из которых силой ума и терпения предстояло выкроить великолепное пальто, совсем новое.

Слева от дона Базилио, но перед столом, а не над ним, сидела Чечилия, его первенец, которая весьма неохотно делала петельки на широких серых штанах. Судя по вздохам, что то и дело у нее вырывались, можно было подумать, что ее занимала какая-то докучливая мысль, а вовсе не неблагородная работа. Справа, близ камина, можно было любоваться грузными формами Поссидонии, законной супруги нашего дона Базилио, которая во времена, когда обожествляли все на свете, вполне могла бы поспорить на бегу с Венерой Каллипигой... и победить, если бы речь шла лишь об окружности. Пока муж соединял куски синего сукна, а Чечилия делала петельки и вздыхала, Поссидония занималась тем, что дула изо всех сил своих легких в переносную чугунную печурку, служившую для двойной цели: нагревать утюги и сапожную лампу, а также кипятить глиняный горшок, где мирно сосуществовали несколько пригоршней фасоли мелкого сорта, кусочек сала в пару унций и толстая колбаска, круглая, точно бильярдный шар. Был бы тут и еще один почтенный член семейства, которого следовало бы представить благосклонному читателю, а именно мальчуган лет семи-восьми, толстый и пухлый, как святой Ермолао в миниатюре. Но поскольку в тот момент он спал как сурок за занавеской, закрывавшей от глаз непосвященных *sancta sanctorum*<sup>1</sup> четы Базилио, мы не будем столь нескромны, чтобы

совать туда нос, и подождем, пока он проснется; что можно сделать без всякого ущерба для кого бы то ни было.

Если кто-нибудь удивляется, видя священника Бога живого, одного из того великого семейства всех стран и всех времен, что всегда, правдами или неправдами, желало пользоваться первинами благ земных, оставляя небеса тем, кто их хочет, — если кто удивляется, говорю я, видя его в такой убогой, неуютной комнатухе под аркой дворца, и скандализируется, замечая его недостаточно прилично и недостаточно ортодоксально сидящим на манер неверных, и имеющим, вопреки священным канонам, жену и пару детей в то время, когда гражданского брака еще и в помине не было, — пусть, пожалуйста, воздержится от всякого дурного суждения, а если уже составил, то немедленно его отменит, ибо наш славный дон Базилио и не думал, даже в мыслях, быть Базилио, а тем более священником.

А вот как обстояло дело. Когда отец его, пятьдесят пять лет и несколько месяцев назад до того дождливого вечера, понес его к крещальной купели, он назвал его Сатурнино, потому что как раз в тот день в календаре был святой с таким именем. Вслед за именем, как и следовало ожидать, пришла фамилия, и это была та же самая, которую более или менее почетно носили,

---

<sup>1</sup> *лат.*: святая святых

переходя от отца к сыну, все предки синьора Стефано Робьолы, непосредственного родителя дона Базилио.

Сей последний, после многих перипетий, с которыми любознательный читатель сможет познакомиться со временем, был наконец определен в качестве привратника в палаццо Галлиполи, где мы его и находим сейчас, хотя он там свил гнездо уже добрых семнадцать лет.

А случилось в это время то, что он видел проходящими перед своей каморкой четыре или шесть раз на дню кусок монастырской прислуги, от которого у него, тощего и долговязого, текли слюнки. Прослышав, что она, помимо прочих качеств, общих всем служанкам на этом свете, умела также часто и охотно путать ваше хозяев с мое ее, он так к ней воспылал, что не пропускал ни разу, чтобы не остановить ее и своим медовым голоском не осведомиться о здоровье. А когда был уверен, что никто не видит, он решался даже ущипнуть ее по-хорошему, что находило любовный отклик в виде правильного толчка локтем, сопровождаемого самой глупой из улыбок, какая только может появиться на женских губах.

Поссидония — так ее звали — была старше его, а он к тем дням уже перешагнул за некую жизненную черту, и, сказать по правде, была она далеко не хороша собой. Однако же сотворил Господь так, что привратник палаццо Галлиполи едва ли не собственными руками сделал ей предложение. То была сцена претрогательная, которая, будь она рассказана со вкусом и искусством, заставила бы истомиться от умиления. Но, желая побереечь чужие чувства для других случаев, я покороче расскажу об этом счастливом событии. Скажу лишь, что при такой неожиданной удаче Поссидония вовсе растерялась и не знала, где она и что с ней. Так что, находясь в ту торжественную минуту внизу, во дворе, босиком, с головой, загруженной большим узлом белья, движимая полнотой чувств, она одною рукой поднесла к глазам подол короткой юбки, чтобы вытереть нечто, что должно было сойти за слезу, а другую протянула, дабы прижать к груди того Сатурнина, которого наконец могла назвать своим. И он непременно бросился бы к ней, если бы узел с бельем, потеряв равновесие, не упал между двумя зарождавшимися возлюбленными, разделив тем самым на мгновение то, что вскоре должно было быть неразрывно соединено Богом.

Но это была небольшая беда; через месяц брак был consumato, а белье, Бог знает сколько раз, возвращалось из стирки. И поскольку сделанное хорошо не преминет принести добрые плоды, не прошло и целого года, как каморка привратника-портного уже огласилась хныканьем новорожденной девочки, которая и была той самой Чечилией, что делала петельки нехотя.

Однако все это не объясняет, почему вместо крестильного имени к нему приклеилось прозвище дон Базилио. Если есть кто-то, кто не знает этого персонажа по живой прозе Бомарше, то нет такого, кто не знал бы его по россиниевским прелестям. Так вот, наш привратник был, примерно, доном Базилио в шестьдесятчетвертой степени, который, не подавая виду, возводил напраслину на всех обитателей дома, а при случае — на всех, кто имел несчастье попадаться ему на язык.

И не думайте, что он выкладывал вам тут же, в лицо, свое мнение о вас или о других. Да нет же: он ни за какие сокровища мира не хотел себя компрометировать. Но он так глубоко знал искусство злословия и так умел ходить вокруг да около, что никто не ускользал от его ножниц. Словом, чтобы отрезать камзол за спиной, а спереди выставить все красивое; чтобы словами убедить, что он весь ваш, а на деле подставить вас или оставить вас жариться в собственном соку, — равных ему не было. И вот эта его склонность, самая яркая из всех, и принесла ему то прозвище, о котором я сказал, причем приклеил его не кто иной, как литератор с лупой на левом глазу, у которого были веские причины невзлюбить привратника, как мы увидим впоследствии.

Как часто бывает, прозвище имело успех у жильцов, которые теперь иначе его не называли. Но так не станем называть его мы, привыкшие давать вещам и людям те имена, которые они имеют.

Итак, в тот самый вечер, который вы знаете, дождь лил как из ведра; кто был дома, тот там и оставался, а кого не было, тот спешно возвращался домой. Семейство Робьола занималось своими делами и не ждало никаких визитов, ни докучных гостей, которые пришли бы справиться о том или о сем. А Сатурнино и не желал ничего лучшего, ибо работа, которая была у него в руках, не терпела отлагательств. Это был старый сюртук, из тех, что носили всего-то сорок лет назад, состоящий из длинного-предлинного полукафтаны с рукавами и с десятком воротников, наложенных один на другой на плечах. От этого старого сюртука, в котором нельзя уже было показаться на улице, чтобы не быть освистанным мальчишками, синьор Франческо Педретти после долгих колебаний решил избавиться, обратив его в пальто по последней моде.

К этому облачению он после еще более долгих колебаний решил добавить пару серых шерстяных штанов, новехоньких, из самого сукна, — тех самых, на которых Чечилия сейчас делала петельки. Тщательный осмотр своего гардероба глубоко убедил его, что для зимы, которая приближалась большими шагами, он вполне может обойтись без жилета. Что позволило ему устоять перед соблазнами Сатурнино, который раскладывал перед ним кое-какие обрезки черного сукна, весьма искусно изъятые из туники одного священника, его заказчика.

Если бы кто-нибудь счел отсюда нашего Педретти человеком несостоятельным, он бы жестоко ошибся. Это был скопидом, каких мало, который в свое время, творя дурные дела, ухитрился накопить в ларце изрядную кучку хороших. Прибавьте к этому скупость почти что грязную, длившуюся долгие годы, и легко понять, как он в конце концов смог отойти от торговли с сундуками, полными до краев, откуда монеты, раз войдя, редко могли выйти. Тем не менее, поскольку он был не из тех, кто отказывается пускать их в рост, когда он уже не знал, куда их девать, он решился вложить их в недвижимость, и в том числе в палатцу Галлиполи — величественное здание в стиле барокко, но отнюдь не из худших.

## ГЛАВА II. Визит

Пока Сатурнино наносил последний утюгом по пальто, а Чечилия пришивала последнюю пуговицу к штанам, и небо не уставало лить воду на землю, дверь отворилась. Привратник отложил утюг, который держал в одной руке, а другой торжественно поднял картонный козырек, как воин Средневековья поднял бы забрало. Увидев, что это за визит, коим удостоена его каморка, он поспешил рассыпаться перед гостем в миллионе комплиментов, вторя чудесным образом грузной Поссидонией; которая, с трудом поднявшись с места, непременно захотела, чтобы синьор Педретти — ибо это был он собственной персоной — занял ее место у жаровни. Впрочем, если во всех, кроме Чечилии, и была большая расточительность в приветствиях хозяйину, то никого это не удивило.

Особенно в зимние вечера визиты становились чаще и продолжительнее; потому что Франческо предпочитал греться у огня своего привратника и освещаться светом чужой лампы, нежели своей. В возмещение Сатурнино и его семейство были его любимцами, и если дело не касалось кармана, не было вещи, которую бы он для них не сделал.

Когда он уселся у жаровни, предварительно тщательно стряхнув пыль со стула, чтобы не запачкать одежду, Франческо начал:

— Ну и проклятая погода! Если так пойдет дальше, мы будем плавать на лодочках. Что вы на это скажете, Поссидония?

— По-моему, вы правду говорите. Вот уже три дня как я ноги за порог не могу выставить!

— Итак, Сатурнино, как продвигается работа?

Сатурнино, прежде чем ответить, счел своим долгом снова приподнять свой картонный козырек в знак уважения к собеседнику. Затем своим звонким, хоть и тонким голосом ответил:

— Еще одно движение утюга — и будет готово.

— Превосходно. Поскорее, поскорее, я хочу пойти к новым жильцам. Вот уже почти два месяца, как они в моем доме, а мне все кажется, что я должен к ним пойти. Надену пальто и штаны, потому что хочу и я показаться.

— Жаль! — пробормотал Сатурнино.

— Что жаль?

— Жаль, что вы не захотели жилет. Был бы наряд — лучше не надо...

— Не нужно: жилетов у меня больше, чем нужно; в этом году я больше не хочу тратиться.

— Что ж, терпение.

— И все же... если бы вы захотели, всегда еще не поздно. Так вы бы и в самом деле показали себя в хорошем свете перед барышней, и...

— Не ради этого; знать я не знаю никаких барышень! — ответил сухо Франческо.

— Я верю, но как бы то ни было, всегда еще не поздно; стоит слово сказать, и сегодня же вечером или завтра утром жилет будет скроен и сшит по последней парижской моде. Вон он там, можете посмотреть.

Последней парижской моде было почтенных лет пять или шесть — обстоятельство, не имевшее ни малейшего значения ни для портного, ни для заказчика. Но все красноречие Сатурнино не смогло сдвинуть синьора Франческо. Только на этот раз, вместо того чтобы отбить аргумент новыми отказами, тот решил ничего не отвечать и, обернувшись к Чечилии, которая сидела в углу вся надувшись, воскликнул:

— Кстати, у меня есть для вас новость; хорошая новость, а я было совсем позабыл. Подите-ка сюда, моя девочка, это касается вас больше всех.

Чечилия нехотя поднялась и медленно приблизилась к Франческо. Но чтобы дойти до него, ей нужно было пройти перед матерью, которая, желая по-своему исправить эту медли-

тельность, украдкой так сильно толкнула ее своей дюжей рукой, что бедная девушка едва не упала к ногам Франческо. Затем, в качестве поправки, сопроводила свое действие словами:

— Иди, любовь моя, иди: разве ты не слышишь, что хозяин хочет сказать тебе что-то?!

— Иду; разве вы не видите, что иду? — пробормотала Чечилия, искоса взглянув на мать.

— И что это за нужда толкаться?

— Что, может быть, он искал?.. — спросил тем временем Сатурнино у Педретти, желая избежать сцены между матерью и дочерью.

— Еще как искал, — ответил Франческо, потирая руки в знак удовольствия. — Еще как искал. Все, что мог, сделал.

— В самом деле? — воскликнул Сатурнино, снова приподнимая свой картонный козырек.

— В самом деле? — повторила Поссидония, втягивая большую понюшку табаку.

— Как то, что мы здесь сидим. Я сам ходил к маэстро, и он обещал дать вашей Чечилии сколько потребуется уроков, чтобы она смогла поскорее выйти на театр, и, что самое главное, бесплатно, ни гроша за это не взяв.

— О, какое счастье!

— Этим мы всецело обязаны вам.

— Еще бы; если бы не вы, ничего бы не сделали. Ну же, Чечилия, что ты там сидишь как сурок? Поблагодари хозяина за его милость.

Но Чечилия, которой, казалось, новость ничуть не обрадовала, пробормотала что-то бессмысленное и вернулась на свое место вздыхать пуще прежнего.

— Видите ли, синьор Франческо, — продолжал Сатурнино, — дело не столько в зарплатке, сколько в том, что нам больше не будет нужды в том гордеце-музыканте с четвертого этажа, который, казалось, подавал милостыню, обучая этой девчонке четыре ноты.

— А кроме того, Чечилия становится большой; она уже девица, и нехорошо было бы, чтобы она туда шастала, хотя, когда мог, и я тоже там бывал.

— Конечно, конечно, это хорошо со всех сторон; и увидите нашу Чечилию с ее-то голосом после года уроков...

Он был на этом месте своей речи, когда с большим шумом отворяется дверь, и низенький, коренастый человечек с лицом полной луны, красным, как земляника, просовывается между створками, громко спрашивая:

— Синьор Альдини дома?

При этом докучливом появлении Сатурнино на этот раз гораздо живее обычного поднял свой картонный щиток от света. Увидев, кто это, он дал ему опуститься обратно и нелюбезно ответил:

— На четвертом этаже.

— Знал! Знал! — весело повторил вновь прибывший, с важностью поправляя у левого глаза стеклышко, выпавшее при входе, и щурился другой, чтобы лучше сосредоточить зрение. — Но прежде чем подняться на сто тридцать семь ступенек, я хотел бы знать, дома ли он?

— Почему же я знаю? — отрезал Сатурнино. — С такой-то погодой я, что ли, должен смотреть, кто входит и кто выходит?

— Но тогда, позвольте спросить, зачем же нужен привратник, если он не может сказать: «такой-то есть, такого-то нет»?

— Можете говорить что угодно, а я тут ничего не могу поделать.

— Ничего не можете поделать?! — повторил вновь прибывший, медленно отчеканивая слоги, и приблизился к Сатурнино с зонтом, вытянутым и наполовину закрытым, с которого ручьем текла вода. — Ах, вы говорите, ничего не можете поделать? Но тогда, быть может, это знает сам домовладелец, эта кровопийца домовладелец, вернее, тот вампир, который высасы-

ваит квартирную плату, будто леденцы. Вот он-то уж наверняка знает, что делать, если вы не знаете, потому что я завтра же пойду к нему и спрошу...

— Чтобы вы не утруждали себя завтра, — весело сказал Франческо, поднимаясь с места, — вы можете сказать мне все, что вам угодно, уже сейчас.

При этом неожиданном выходе Джакомо Ривацио — так звали обладателя монокла — несколько смущенно обернулся к Франческо, который, ловкий во всем, что не стоило денег, скорее позабылся этой сценой.

— Как? Вы и есть?..

— Кровопийца, вернее, вампир, который будет весьма рад оказать вам какую-либо услугу.

— Коли так, будьте любезны сменить привратника и найти такого, который умел бы делать свое дело лучше, чем дон Ба... Сатурнино, хотел я сказать.

— В моем доме?.. — пробормотал Сатурнино, посинев от злости.

— Нахал, и больше ничего! — завопила взбешенная Поссидония. — С кем он, думает, разговаривает?

— Молчать, Поссидония, дайте говорить тому, кто умеет говорить! — изрек Франческо, властно удерживая старую мегеру. — Молчать! А вы, сударь мой, смягчите, пожалуйста, свои выражения. Сатурнино — славный человек, который делает все возможное, чтобы всем угодить. Но, святые небеса, прекрасно понятно, что привратник не может иметь сотни глаз. Бывают дома, видите ли, где люди вынуждены проходить прямо через каморку привратника — тогда это совсем другое дело; но у меня каждый волен входить и выходить по своему усмотрению, так что... вы меня понимаете...

— Ладно, ладно, это называется рассуждать, и я больше не настаиваю; смиряюсь с тем, чтобы подняться на сто тридцать семь ступенек, рискуя стукнуться носом в запертую дверь синьора Альдини. Добрый вечер.

С этими словами Джакомо удалился под мысленные проклятия Сатурнино и яростные взгляды Поссидонии, которую не удовлетворили ни вмешательство, ни заступничество домо-владельца.

— Кто же этот чудак? — спросил Франческо, когда Джакомо ушел.

— Это тот, кто дал папаше прозвище дон Базилио, — выпалила Чечилия, которой казалось, что она таким образом вознаграждает себя за неприятную новость, принесенную Франческо.

— Замолчи, нахал! — закричала Поссидония, бросив на дочь угрожающий взгляд.

— Это сорвиголова, — добавил Сатурнино, — приятель того музыканта, о котором я только что говорил. Ни разу не случится ему сюда зайти, чтобы не выкинуть какой-нибудь новой штуки, чтобы затеять ссору. Но если уж он выведет меня из терпения...

— Терпение, Сатурнино; не нужно давать волю чувствам, когда приходится иметь дело с таким множеством народу каждый божий день. Но полно, не будем больше об этом. О чем это мы говорили? Ах да, говорили о Чечилии и о ее новом учителе. Даю вам слово, если взяться за дело как следует, через несколько месяцев она будет готова.

— Я уже не пойду... — сердито пробормотала Чечилия.

— Нет, пойдешь.

— Непременно пойдешь, — повторил Сатурнино, сопроводив слова сильным ударом утюга по хозяйскому пальто.

— Или ты, может быть, хочешь продолжать строить глазки этому дурному человеку Альдини? Ты сильно ошибаешься, знаешь. Лучше я позволю тебе еще раз, хоть один только раз, сходить на четвертый этаж, чем потом удавлю тебя собственными руками! — заорала Поссидония, поднимаясь со стула в позе человека, готового тотчас исполнить сказанное.

— Ну-ну, успокойтесь все, сколько вас есть: Чечилия — девушка благовоспитанная и не может упрямиться против воли родителей. А вы, Поссидония, не горячитесь так, как вы это делаете. Берите пример с вашего мужа — он настоящий порох, который быстро вспыхивает и гаснет. Идите-ка лучше сюда, давайте обсудим дело.

### ГЛАВА III. На четвертом этаже

Пока Франческо расточал свое красноречие, уговаривая Чечилию, Джакомо поднимался, пыхтя, с риском не застать того, кого искал. К счастью, молодой композитор был дома и поспешил ему открыть.

Жилище Маурицио сводилось к двум каморкам, которые именовались гостиной и спальней, но вместе они не составляли и одной приличной комнаты. Мебели мы описывать не станем, потому что по правде не было ни одной целой, если не считать скромной кроватки и вертикального пианино — не нового, не красивого и даже не его собственного, ибо он брал его напрокат за десять франков в месяц. Тем не менее на этом плохо сколоченном спинете он творил чудеса! Остальное состояло из нескольких дырявых стульев, хромого столика, ореховой угловой этажерки, с которой лак исчез много лет назад. Но стулья, столик и этажерку едва можно было разглядеть, потому что они были покрыты нотами — печатными и рукописными, своими и чужими.

Стены гостиной были бы самыми унылыми стенами на свете, если бы Маурицио не позаботился оклеить их там и сям изображениями прославленных композиторов: Чимароза, Россини, Доницетти, Верди — для Италии; Бетховена, Моцарта, Мейербера — для Германии. Из композиторов французских и английских в этой галерее не было ни одного.

А поскольку Маурицио, не будучи литератором или поэтом, был другом словесности и глубоко чувствовал поэзию, он захотел иметь всегда перед глазами образы самых дорогих для него писателей всех времен и народов. Данте и Леопарди получили свое почетное место. Правда, первый был изображен в маленьком гипсовом бюстике на камине, а второй — в портрете, вырванном из тома Ле Моннье и прикрепленном к стене четырьмя латунными кнопками, как и все остальные портреты, ибо о рамах и стеклах не было и помину. Только в спальне, в изголовье кровати, где набожные держат образ Мадонны, у Маурицио висел портрет Катанеза, заключенный в элегантную раму со стеклом, прозрачным, как вода, для защиты от порчи.

Была у Маурицио и своя маленькая библиотека. Данте, Ариосто, Леопарди, Байрон, Шекспир, Шиллер — авторы, из которых он умел извлекать самые сокровенные красоты. Когда-то была тут и Библия, но он ее потом подарил, так как она не казалась ему заслуживающей всех тех похвал, которые ей расточают. Быть может, это была его причуда? Не знаю: другой увидит, был ли он не прав или прав в такой мысли.

— А, вы здесь? — воскликнул Джакомо, входя. — Молодец, хорошо сделали, что не вышли сегодня вечером, иначе вы взяли бы на душу все те проклятия, которые неминуемо сорвались бы у меня с языка. Что вы мне шутки шутите? Подняться на сто тридцать семь ступенек и вернуться несолоно хлебавши? Это было бы горько, о да, горько.

— Я почти никогда не выхожу по вечерам, — заметил Маурицио, убирая со стула несколько листов нотной рукописи, чтобы дать место Джакомо.

— А кто ж об этом знал? Этот негодник дон Базилио, который умастывает и увивается перед всеми, кто есть в доме и кто приходит, — но со мной, видно, у него нелады.

— Почему?

— Потому что всякий раз, как я прихожу к вам, он отвечает мне грубо, и нет такой силы, чтобы заставить его сказать, есть вы или нет.

— Оставьте его.

— Я бы, конечно, оставил, если бы не эти проклятые сто тридцать семь ступенек, из-за которых у меня начинается астма. Право, я рад, что дал ему прозвище дон Базилио.

— Усаживайтесь.

— Премного благодарю А как ваше здоровье?

— Очень хорошо.

— Очень рад. И все работаете с этими глупцами?

— Помаленьку.

— Bravo. А теперь послушайте-ка, мой дорогой; я пришел предложить вам одно дело, хорошее дело, отличное дело. При таком лунном свете не часто такое сыщешь запросто, особенно в такой час и в такую погоду. Но я вам друг; вы это знаете уже давно, и вас это, надеюсь, не удивит.

— Ничуть; посмотрим, о чем идет речь?

— Вы совершенно правы; посмотрим, о чем идет речь. Вот как обстоит дело. Я только что закончил новое либретто; изумительное либретто, грандиозное либретто, одно из тех либретто, которые, если бы по злой судьбе не существовало «Божественной комедии», сами заняли бы ее место. Клянусь всем, что для меня свято на свете, — я превзошел самого себя; и когда я так говорю, вы понимаете, что я хочу сказать. Это «Саламинская битва». Вы знаете лучше меня, что Саламинская битва не имеет ничего общего ни с Сольферино, ни с Маджентой. Саламинская битва — это классическая битва, греческая битва, одним словом, битва, в которой пушки Кавалли не фигурируют даже в гипотезе. Там есть греки, одетые по-гречески, которые говорят, как вы да я; я создал такие ситуации, что любой порядочный человек придет в изумление; там есть каватины, арии, хоры, дуэты, терцеты, квартеты, финалы — все разукрашено так, как никто не разукрашивает. Словом, это мелодрама, способная создать репутацию молодому маэстро. И я предназначил ее вам, потому что мне кажется, у вас есть те самые качества, чтобы идти по славным стопам Россини, Беллини, Верди... и если хотите, вот она.

Маурицио протянул руку, чтобы взять сверток бумаг, перевязанный посередине розовой шелковой ленточкой, которую либреттист достал из заднего кармана своего длинного пальто цвета кофе с молоком.

— Потихоньку, мой дорогой; в Евангелии сказано, что не хлебом единым жив человек; но когда это было написано, либреттистов еще не изобрели. Если бы их изобрели, я совершенно уверен, что добавили бы хотя бы постскрипtum, разъясняющий, что в виде исключения человек-либреттист часто был бы счастлив не жить ничем, кроме хлеба, да и то не слишком белого.

— Но я не понимаю.

— Сейчас объясню. Если я сделал мою «Саламину», если я пролил ради нее кровь, доведя ее до того совершенства, до которого довел, то у меня были на то свои виды. Я не говорю, что вы должны мне за нее заплатить; нет, подобная работа бесценна; но и дарить ее вам совсем я тоже не хочу. Двести лир, например, — это ничто по сравнению с тем, чего стоит поэма, но для меня кое-что значит.

Маурицио, который внимательно и не без удовольствия слушал болтовню либреттиста, при этих последних словах снова сунул руку в карман и принялся насвистывать ариетку, сочиненную как раз сегодня утром. Джакомо посмотрел на него и сказал:

— Вам не нравится мое предложение? Оно кажется вам слишком дорогим? Хорошо, уступим; с вами я не буду мелочиться. Дайте мне сто восемьдесят франков — и я буду доволен, и очень доволен, что вы сможете выступить на сцене в первый раз с произведением, которое передаст ваше имя самой отдаленной потомкам. Итак, что вы мне скажете?

— Сожалею, Джакомо, что не могу вам помочь, — ответил Маурицио, — но вы знаете, в каких водах я плаваю. У меня осталось совсем немного от тех денег, что прислал мне тот добрый старик, мой дядя, а когда они кончатся, я не знаю, как дальше жить.

— Бедный Маурицио! — пробормотал Джакомо, обводя глазами комнату, которая печально подтверждала слова молодого маэстро; бедный Маурицио! — повторил он. — И вы все еще на мели? Вы так и не нашли способа как-нибудь сводить концы с концами?

— Никак!

— Возможно ли? С таким умом, даже больше — с таким талантом! Ах, подлый мир, который не прощает тем, у кого на два пальца мозгов больше, чем у него. Подлый мир! Но, впрочем, сказать по правде, извините меня, но...

— Ну, говорите же, — поспешил Маурицио, видя, что собеседник не решается продолжать.

— Я хотел сказать, что вы тоже, черт побери, такой славный малый, который не умеет себя подать. Вы шутите? С вашими способностями сидеть в этом почти чердаке, жить — Бог знает как, тогда как вместо этого...

— Вместо этого?

— Вместо этого вы могли бы давать уроки пения, например, фортепиано, скрипки. Все это вы знаете превосходно, и если бы захотели, уроков бы не хватало; стоило бы только объявить, пообещать тут, попросить там, и...

— Не могу! — ответил Маурицио, и этот довод вытравил из него даже ту слабую веселость, которую вызвала болтовня либреттиста. — Я не умею просить, не умею искать. Я чувствую призвание к другому; я должен писать, вот и все. Я чувствую что-то здесь, внутри, — и он указал на сердце, — что неудержимо влечет меня по этому пути; всякое другое дело, которое я попробую, не удастся мне!

— Ну уж нет, с вашим способом рассуждать я ничего не понимаю. Возможно, я тупая голова, невежда, если хотите, хотя я несколько не считаю себя невеждой... Но сделайте милость, ответьте мне, если вам, впрочем, не неприятно, что я задаю вам вопросы?

— Напротив, мой добрый Джакомо, напротив. Не сегодня я вас узнал; не сегодня я знаю, что вы мне желаете добра.

— Желая ли я вам добра?! Да я вам желаю огромного добра, мой дорогой Маурицио, душа моя, и мои речи это доказывают. Скажите мне, хотите, мы составим небольшой баланс доходов и расходов, как делают банкиры?

Маурицио улыбнулся, кивнув головой, а Джакомо, сняв с глаза монокль, чтобы протереть его, продолжал:

— Сколько у вашего дяди имущества?

— Почти ничего.

— Ничего? Как же он тогда живет?

— На несколько сотен франков, которые он выручает с маленького участка земли в Кана-везе, причем сам, хоть и стар, в значительной части обрабатывает его.

— Плохо, плохо. Нехорошо, что добрый человек не имеет состояния. В наши дни, скажите по совести, у кого его нет?

— У вас и у меня, например!

— Вы правы; я об этом уже не подумал. С этим проклятым «Саламином» в кармане мне кажется, что я Ротшильд. А ваш дядя, стало быть?...

— Он разорился, чтобы содержать меня в Неаполе и Милане; он надеялся, что я стану великим композитором, что быстро пробью себе дорогу, что приобрету славу и богатство, но до сих пор, вы сами знаете, я не сделал ничего из того, на что он надеялся.

— Тогда это совсем другое дело. Тогда вы...

— Я понимаю вас; я не должен был этого допускать. И как бы ни велика была моя любовь к музыке, я бы не позволил ей, ценой любой жертвы; но кто же что знал? Когда я заметил ту пропасть, которую сам помогал рыть, уже было слишком поздно что-либо исправлять.

— Хорошо, хорошо, идем дальше. И что же вы думаете делать теперь?

— Не знаю, — ответил с показной небрежностью Маурицио, проводя пальцами по клавиатуре пианино.

Джакомо был растроган, гораздо сильнее, чем можно было ожидать от человека его склада. Пока друг извлекал из инструмента самые сладкие и гармоничные звуки, он сидел

задумчивый, отчасти жалея его, отчасти браня этот подлый мир, а отчасти размышляя о каком-нибудь способе ему помочь. Но трудность состояла именно в том, чтобы найти этот способ; потому что Маурицио, нежнейшего нрава и почти безразличный к житейским делам, как фаталист, никогда не соглашался пользоваться теми средствами, которыми все пользуются, чтобы прожить. Тем не менее в какой-то момент Джакомо встряхнулся и, ударив себя рукой по лбу, воскликнул:

— Осел! — воскликнул он. — Осел, я говорю, понимаете?

— И зачем же вы так дурно о себе отзываетесь? — спросил Маурицио, продолжая играть.

— Потому что я забыл истинную причину, которая заставила меня подняться на сто тридцать семь ступенек. Хотите узнать ее или нет?

— Я слушаю.

— Слушайте, но перестаньте играть, иначе я напрасно потеряю дыхание. Так-то лучше. Вот как обстоит дело. Прежде всего, знаете ли вы синьора Армению?

— Нет.

— Жаль, я думал, вы его знаете. Сегодня утром я столкнулся с ним под портиками. Мы остановились, как обычно, чтобы пожать друг другу руку, осведомиться о здоровье и поругать эту сырую погоду; но потом он попросил у меня совета относительно выбора хорошего учителя фортепиано для своей дочери — божественного создания, ангелочка без крыльев.

— И что же?

— И вот, завтра утром я должен привести к нему одного. Я было нацелился на маэстро Ардинолло, такого элегантного, что лучше не надо; но, поразмыслив, мне кажется, что подошли бы вы...

— Я же говорил вам...

— Что вы не хотите слышать об уроках, я знаю; но, ей-богу, когда нет ничего лучшего? Что ж, терпение: я сделал свое дело. Не хотите? Вольны поступать по-своему. Это был бы урок, который хорошо оплачивался, потому что у Армению кошелек не завязан. И заметьте: согласившись, вы не должны были бы терять много времени; и даже не выходить из дома. Пересечь двор, подняться на четыре лестничные площадки — и вы на втором этаже в мгновение ока. Но повторяю, если вы не хотите...

— Как? — живо воскликнул Маурицио. — Урок следовало бы давать...?

— Синьорине Армению, которая живет как раз в этом доме.

— И вы полагаете, что это хорошее предложение? — пробормотал Маурицио, стараясь скрыть свою радость.

— Полагаю ли я? Отличное предложение. Но вы ведь не...

— Нет, нет, напротив, я согласен.

— Как? Так внезапно? — удивился Джакомо.

— Я лучше подумал, — ответил Маурицио, — и мне это не кажется чем-то, чем стоит пренебрегать.

— Слава Богу! — закричал Джакомо, хлопая в ладоши. — Наконец-то вы становитесь человеком, как все...

— И вам кажется, это хорошо — становиться как все? — Но Джакомо не обратил на это внимания.

— ...вы начнете пробивать себе дорогу; вы дадите себя узнать; уроки посыплются градом, вернее, как манна небесная на евреев, и я увижу вас богатым и уважаемым, и... Но оставим то, что будет; одно к одному, а время все устроит. Итак, завтра я зайду за вами и приведу в дом Армению. Представлю вас; об остальном вы позаботитесь сами.

— Завтра?! — повторил Маурицио, с ноткой и вопроса, и восклицания.

— Завтра, завтра; вам кажется, это слишком рано? Нет, нет, не бывает слишком рано... для исполнения полезного дела.

— Вот так и надо говорить. Теперь мы поняли друг друга, без лишних слов. Будьте готовы, и вы останетесь довольны. А пока до свидания.

— До свидания, Джакомо; я буду вам обязан всю жизнь.

— Слишком много, слишком много. Мне довольно того, что вы будете удовлетворены.

— Вы не знаете всего добра, которое вы мне сделали.

— Говорю же вам, это пустяки. Вы видели, что я не приложил к этому ровно никакого труда. Меня просят хорошего учителя музыки — вы им и являетесь; я предлагаю вам урок — вы принимаете; ну и?... До завтра, и спите хорошо.

— До завтра.

## ГЛАВА IV. Последствия встречи

Пожелание Джакомо другу осталось бесплодным. Из-за новости, которую он принес, Маурицио не смог сомкнуть глаз. Не радость от того, что он нашел хороший урок, не надежда проложить себе с его помощью путь, чтобы выбраться из почти нищеты, что его окружала, — ничто из этого. Маурицио был слишком поэтом, чтобы так сильно волноваться из-за того, что касалось его физического существования. Если бы даже у него не осталось последнего куска хлеба, он умер бы, распевая, как соловей. Известные потребности он испытывал, как и всякий смертный, но никогда не делал из них высшей необходимости бытия. Самая нежная из муз сделала его своим с ранних лет, и он жил только для нее. Ему была нужна одна-единственная вещь, и, не имея ее, он горевал бы сильнее, чем от отсутствия хлеба и крова: пианино. Но и в этом он восполнял бы недостаток пылкой фантазией.

Отчего же тогда происходила радость, которую он не слишком хорошо скрыл от Джакомо? Она происходила оттого, что предложение этого урока имело для него неоценимое достоинство, и имело потому, что речь шла о его соседке. Не минуло и двух полных месяцев, как она поселилась в квартире напротив его. За эти два месяца он видел ее лицом к лицу только один раз, когда она выходила с матерью, но бесчисленное множество раз — из окна.

Он был ослеплен видом ее, которая шествовала нежной и целомудренной, как Беатриче Алигьери. Прекрасные голубые глаза девушки случайно встретились с его глазами — и этого было довольно. Внезапное волнение овладело им; непривычный к таким последствиям, он не сумел его объяснить. Но оно не должно было оказаться мимолетным. Прислонившись спиной к стене, он долго смотрел на нее, пока она удалялась, не ведая о ране, которую нанес ее взгляд.

Маурицио не знал, кто она, и не искал этого; ему показалось, что этот образ чудесным образом соответствует идеалу, который жил в его сознании; ему показалось, что благодаря ей понятие прекрасного, которое непрестанно его мучило, обрело небывалую и дивную форму, и этого было для него довольно. Он почувствовал себя вдруг вознесенным в чистейшие сферы и не смог и не сумел сделать относительно этой встречи ни одного из тех рассуждений, ни одного из тех намерений, которые обычны для юношей в подобных случаях. Даже если бы он никогда больше ее не увидел, этот образ навсегда остался бы высечен в его душе. Как художник невольно воспроизвел бы его на холсте или в мраморе, так он воплотил бы ее в какой-нибудь из своих сладчайших мелодий, всегда имея и сердце, и разум полными ею.

Но она вновь появилась у окна, и не раз, и он, в блаженном экстазе, подолгу смотрел на нее.

Была ли она скромна или бессознательно отвечала на его взгляды — не важно. Не этого он искал. Когда верующий становится на колени перед образом божества и поклоняется, он прекрасно знает, что живопись или бездушная скульптура не могут его видеть; тем не менее он преклоняет колени и поклоняется в них божеству, которое существует лишь в его сознании и в его вере. Так и Маурицио воздавал свое поклонение новой богине своих мыслей и не только не желал, но даже не надеялся, что она удостоит его взгляда.

Но мало-помалу человек потребовал свою долю в поэте — и получил ее. Это была доля самая чистая, самая возвышенная, какую только может вместить человеческое сердце, — но он ее потребовал. Силою этого, почти что сверхчеловеческого, поклонения Маурицио открылся самому себе — и полюбил; и если он не думал, что любим взаимно (что было бы слишком большим счастьем), то должен был убедить себя, что не совсем безразличен. Богиня сошла с алтаря; приблизилась к нему, стала женщиной; Маурицио ощутил в сердце желание, дотоле неведомое, но всевластное, которое влекло его, толкало, несло и дразнило по своему капризу.

## ГЛАВА V. Чечилия

Лампа Сатурнино, сосредоточивая свет посреди стола, оставляла остальное в полутени, поэтому читатель не мог рассмотреть Чечилию как следует. Теперь — ясный день; дождь больше не идет; небо, если не совсем безоблачное, то и не затянуто тучами; и немного солнца, достаточно теплого, чтобы высушить улицы и развеселить природу. Было сказано, не помню уже кем, что если бы не существовало религии, ее следовало бы изобрести. Я не утверждаю и не отрицаю, но говорю то же самое о солнце: конечно, век телеграфа и железных дорог, в отсутствие солнца, изобрел бы какую-нибудь дьявольщину, которая заменила бы его.

Как бы то ни было, солнце сияет для всех без того, чтобы ученые прилагали к этому хоть какие-то усилия, и в это утро оно сияло даже внутри каморки привратника палатцо Галлиполи. Сатурнино собирался выходить, так как должен был отнести хозяину пальто и штаны; Поссидония тоже вышла — послушать мессу, сделать небольшие дневные покупки и поболтать немного со старыми кумушками; а уже часа два как она, пинками, отправила в школу мальчика, маленького Ермолао, которого в миру, впрочем, звали Лоренцо, и который был самым избалованным и прожорливым ребенком в округе на много сотен метров вокруг.

Итак, солнце сияло, и Чечилия довольно тщательно приглаживала волосы, так что ее можно было разглядеть как следует, какой она была. И не была она, бедняжка, красива, но была молода, а молодость — первая из красот. Она была молода, и у нее было много волос, и очень черных; она была молода, и у нее была пара больших глаз того же цвета, которые, хоть и не выражали многого, но, безусловно, были неплохим украшением для ее особы — ни высокой, ни низкой, но зато не горбатой и не уродливой. Словом, Чечилия была дурнушкой, которая могла нравиться, особенно тем, кто не ищет в женщине тонких черт, изысканной чувствительности, тайных радостей поэзии, которую не выразить словами.

Лицо Чечилии представляло собой сочетание неправильных и с первого взгляда неприятных линий, а смуглый цвет кожи не очень ей шел. К тому же в это утро, сколько она ни старалась прихорошиться перед испорченным и потускневшим зеркалом, во всем ее облике было что-то озлобленное, что делало ее усилия тщетными.

Она была еще всецело занята этим важным делом — важным даже для привратницы, — когда ее отец, упаковывая одежду Педретти, собрался выходить.

— Чечилия, — сказал он, надевая свой старый меховой колпак, — я бегу отнести это барахло хозяину. Смотри, если кто придет, и гляди у меня, не оставляй поста.

Сатурнино, хоть и был скверным привратником для жильцов, относился к своей должности со строгостью солдата.

— Не беспокойтесь, папа, — быстро ответила Чечилия. — Как только закончу причесываться, повторю урок музыки, и мне хватит этого до тех пор, пока кто-нибудь из вас не вернется.

Не успела она договорить, как Сатурнино уже ушел, а последний удар гребня завершил прическу. Но Сатурнино не сделал и десяти шагов, как Чечилия, чтобы быть верной своему слову, заперла дверь на ключ и поднялась на четвертый этаж.

На каждой лестничной площадке она останавливалась, пока не дошла до двери Маурицио. Тут она задержалась несколько дольше, потому что сердце у нее сильно-сильно билось. И ведь это была не усталость от подъема: она привыкла к нему давно, и он не доставлял ей неудобств. Прежде, поднимаясь к молодому композитору на урок или по другому поводу, который она очень часто придумывала, она испытывала радость и на лице, и в сердце. От первой до последней из этих благословенных ста тридцати семи ступенек она только и делала, что пела, а достигнув цели, прыгала и плясала как безумная, дергала звонок обеими руками и не давала времени передышки, пока ей не откроют. На этот раз, напротив, печальная, мрачная,

она казалась даже бледной. Одышка заставила ее остановиться, хотя дверь была приотворена лишь наполовину.

Едва придя в себя, она слегка толкнула одну из створок и вошла. Маурицио не было в маленькой гостиной, но его шляпа на пианино говорила о том, что он дома. Чечилия приблизилась к застекленной двери, которая вела в спальню, и замерла, наблюдая.

Маурицио, вопреки обыкновению, был сильно занят своим туалетом. Весь его бедный гардероб был перевернут вверх дном: на кровати, на стульях, на полу — штаны, сюртуки, жилеты, рубашки. Он надел свои красивые лакированные туфли, лучшие штаны, какие у него были, и белую, из стирки, рубашку. Что касается сюртука, то тут выбирать было не из чего, потому что тот, который он носил повседневно, был единственным, в котором можно было показаться на люди, хотя там и здесь уже виднелись нитки. В тот миг, когда Чечилия приникла к стеклу, он как раз чистил его щеткой, но остановился в замешательстве, обнаружив, что на самом видном месте не хватает пуговицы. Это, казалось, сильно его огорчило: он не знал, как тут же выкрутиться.

Маурицио был беден; вот уже целых два года он не имел дела с портными; тем не менее он всегда ухаживал за своим тряпьем, чтобы оно производило наилучшее возможное впечатление. Как все благородные души, он заботился о чистоте тела так же, как и о чистоте души, и ему было бы приятно опрятность и элегантность, если бы карман позволял. Нехватка пуговицы была для него, таким образом, серьезным случаем, особенно в тот день, когда он хотел показать себя перед новой ученицей.

Чечилия поняла, насколько полезной может быть в эту минуту ее помощь, и, хотя у нее было другое на уме, не заколебалась подать знак о своем присутствии, проведя пальцами по клавишам пианино.

— Кто там? — крикнул Маурицио, выглядывая в дверь с сюртуком в руке. — А, это вы, Чечилия?

— Это я.

— И... вы пришли на урок?

— Нет, синьор.

— Тем лучше, потому что сегодня утром, признаться, мне нужно выйти; и...

— Я вижу, что вы собираетесь выйти, и рада, что поспела вовремя, чтобы... Посмотрите, синьор Маурицио, у вас с этого сюртука отскочила пуговица.

— Да, именно ее я и разглядывал.

— Дайте-ка сюда, я ее вам пришью, — сказала Чечилия, доставая игольник из кармашка передника.

— Спасибо, Чечилия, вы сделаете мне большое одолжение, и я вам очень обязан.

— Не за что. Да где же она у вас?

— Что именно?

— Пуговица... которую пришить.

— Да... я, наверное, потерял ее.

— И что же теперь делать? Тут нужна деревянная душа. Нужно иметь деревянную душу! — повторила девушка со вздохом, на который Маурицио не обратил ровно никакого внимания.

— Но у меня нет деревянных душ.

— Посмотрите, как мы сделаем. Отпорем эту, которая остается под отворотом, и пришьем ее туда, где не хватает.

— Умница, Чечилия. Делайте, как вам угодно, только побыстрее. Уже почти двенадцать, и я жду друга, который должен зайти за мной.

— Вот и готово.

— Спасибо, Чечилия. А когда я вернусь, мы повторим урок.

— Ах, горе мне бедной! — ответила девушка чуть не плача. — Я больше не буду брать у вас уроков... нет!

— Как же так, почему вы больше не придете? — спросил Маурицио, поспешно приближаясь к ней.

— Потому что мой отец больше не хочет меня пускать, говорит, что это нехорошо. Это он так говорит, знаете. А еще ему пришло в голову, что я учусь недостаточно быстро, и он так старался, пока не нашел другого учителя.

— Мне действительно жаль. А вы довольны такой переменной?

— Я — нисколько.

— Отчего же?

— Потому что мне нравилось учиться у вас; невозможно найти другого, кто бы учил так хорошо, нет!

— Вы неправы, Чечилия. Есть учителя, созданные именно для того, чтобы учить, у которых вы сможете научиться гораздо лучше, чем у меня. Ваш отец прав.

— Ах, так вы тоже рады, что я больше не буду сюда приходить?!

— Я этого не говорю, Чечилия; и доказательство тому — вы всегда можете приходить в свободные часы; более того, я смогу помогать вам повторять уроки, которые вам будут давать.

— Но я же вам говорю, что они не хотят, чтобы я поднималась сюда ни за что, никогда!

— Если так, то не поднимайтесь; надо слушаться родителей, даже если в том, чтобы поступить вопреки их воле, не было бы ничего дурного.

Рассудительность Маурицио граничила с безразличием слишком сильно, чтобы Чечилия осталась довольна. Поэтому вместо того, чтобы показаться убежденной этими благими доводами, она разрыдалась, как маленькая девочка. Если бы Маурицио не был занят мыслями о другом, он бы принялся ее успокаивать и, возможно, допытался бы причины, которая причиняла ей такую муку. Но в тот миг присутствие Чечилии вызвало в его памяти другой образ, и, весь погруженный в него, он не обратил ровно никакого внимания на слезы, катившиеся по щекам привратницкой дочки. Та же, со своей стороны, устыдившись того, что зашла слишком далеко, поспешила вытереть глаза краем передника и возобновила прерванный разговор.

— Синьор Маурицио, — сказала она, — прежде чем пойти к новому учителю, я хотела поблагодарить вас за то, что вы для меня сделали. Я буду всегда-всегда вас помнить, знаете?

— И я вас, Чечилия. Но я надеюсь, что мы будем часто видеться, не так ли?

— Не знаю. Но если бы я могла вас видеть... можете себе представить... и... Тут слезы, против ее воли, снова нашли дорогу к глазам; и она резко отвернулась в другую сторону, чтобы Маурицио не мог этого заметить.

В этот момент на лестничной площадке внезапно послышался голос Джакомо Ривацио. При звуке этого голоса Маурицио забыл обо всем и, бросившись навстречу входящему другу, сказал:

— Вот я и готов; надену сюртук — и я с вами.

— Точен, как кредитор! Я сказал, что буду здесь в полдень, и вот полдень как раз пробил, когда я появляюсь.

— Я и не сомневался.

— Черт возьми! Какой тщательный туалет вы для себя соорудили. Сразу видно, что речь идет о том, чтобы предстать перед красивой барышней.

— О, не ради этого... — пробормотал Маурицио, совсем смутившись и слегка покраснев. — Раз нужно идти в незнакомый дом, естественно, что...

— Естественно не бывает. Но давайте поторопимся, потому что синьоры, вероятно, должны выходить, и я не хочу, чтобы из-за нас они задерживались дома дольше.

— Вы правы, поторопимся. Я зайду на минутку в комнату, причешусь — и готово.

С этими словами он удалился, оставив Джакомо с Чечилией; которая была оскорблена и раздосадована, услышав разговор о красивой барышне. Будь то любопытство или что иное, она не удержалась и спросила Джакомо:

— А синьор Маурицио собрался с визитом к барышне, не так ли?

— Визит? То есть и визит, и не визит; это я уговорил его дать один урок фортепиано, а тут нужно немножко представиться. Понимаете, милочка моя? — добавил Джакомо, сопровождая свое отеческое выражение лаской более чем братской.

— А синьор Маурицио знаком с барышней?

— Да если бы он был знаком, ему бы не понадобилось, чтобы я его представлял, красавица моя.

И на этот раз Джакомо, осмелев, возможно, не удовольствовался бы одной лаской, если бы, с одной стороны, Чечилия не отбросила его на два шага назад толчком, а с другой — не подоспел Маурицио.

— Вот и готов, — сказал последний, беря шляпу и трость. — Не правда ли, я управился быстро?

— Даже слишком быстро, — пробормотал Джакомо.

— Так идем же.

— Идем. До свидания, красавица.

— Красавица как же! — ответила Чечилия нелюбезно.

— Прощай, Чечилия, — повторил Маурицио в свою очередь, даже не взглянув в ее сторону. — Когда вернусь, увидимся, если вы еще будете здесь.

Последние слова почти пропали для Чечилии, которая, оставшись одна в гостиной, не смогла больше притворяться. Она бросилась на ближайший стул и, закрыв лицо обеими руками, разрыдалась навзрыд. То были слезы злости и досады. Затем она вскочила как фурия и принялась разбрасывать все, что попадалось ей под руку: ноты, книги, подсвечники — в одно мгновение все было грубо сорвано со своих мест и разбросано по полу. Ветер самум из аравийских пустынь не смог бы наделать большего опустошения. Когда она устала, но не насытилась, переворачивать все вверх дном с детской злобой, Чечилия удалилась с поля своего гнева, громко повторяя:

— Это пока, но это еще не конец. Ох, оплатит он мне, злодей! Да, да, он мне должен заплатить... и он заплатит!

## ГЛАВА VI. Мать

Пока происходило опустошение его бедного имущества, Маурицио радостно направлялся к дому ученицы. Пересекши двор и поднявшись на четыре короткие и элегантные лестницы, устланные ковром, он вскоре оказался у двери жилища синьора Армению.

Поднимаясь, Джакомо не переставал наставлять своего протеже о том, как обращаться с этими господами, о различных нравах членов семейства, об их положении и прочих подобных вещах. Он был Ментором, наставлявшим Телемаха, хотя ни дочь, ни мать не имели ничего общего с Калипсо, да и сам Джакомо не мог похвастаться той осмотрительностью, которой обладал герцог, сын Улисса.

— Не знаю, будет ли синьор Армению дома; он человек занятой, он маклер по обмену векселей и зарабатывает на этом бешеные деньги. Но если он окажется, смотрите, рассыптесь перед ним в комплиментах, потому что он любит, когда его гладят по шерстке. У него в доме — открытый двор; он задает хорошие обеды, устраивает беседы, но его нужно воскуривать; это его слабость. Говорят, он очень богат, но «деньги и святость — половина от половины», как гласит пословица. Как бы то ни было, он будет хорошо платить за урок, и это главное. Старуха полна претензий, хотя виду не показывает; в свое время она, должно быть, была хорошенькой, но теперь уже румяна и притирания не в силах загладить морщины и скрыть седину. Тем не менее, вы хорошо сделаете, если будете за ней ухаживать, и если понадобится, повторяйте ей десять раз на дню, что Венера должна была бы прятаться рядом с ней. Что касается молодой...

— Молодой? — с тревожным нетерпением переспросил Маурицио.

— Молодая — хорошая девушка, мне кажется, и сделает вам честь. Она хорошенькая, любезная, и, полагаю, не имеет ни одного из недостатков своих родителей. Заметьте, я мало ее знаю, потому что, по правде, не принадлежу к числу самых усердных посетителей этого дома; хотя синьор Армению очень уважает меня. Словом, увидите своими глазами и рассудите.

С этими словами они дошли до двери, и Джакомо уже позвонил. Пожилой слуга поспешил открыть и, зная, что двух друзей ждут, без лишних слов провел их в гостиную.

— Прошу садиться здесь, я пойду доложу синьоре.

Маурицио, если бы кто-нибудь прочел в его душе, находился в жалком состоянии. Бог ведает, как страстно он желал подойти и увидеть ее вблизи. Бог ведает, как он был благодарен этому славному малому Джакомо, который, сам того не зная, оказал ему такую великую услугу. Но что поделаешь? Теперь он был здесь, в этой гостиной, откуда его, быть может, отделяла от нее лишь тонкая стена; он был здесь и косился на зеленую суконную портьеру, которая, казалось, вот-вот поднимется... и он трепетал. Более того, он был так сильно напуган своей удачей, что, если бы мог, бросился бы стремглав прочь из этого места, добровольно отказываясь от удовольствия, которого, как ему казалось, он был недостоин.

Молодой светский человек, искушенный в любовных похождениях, бесстрашный охотник за прекрасным полом, оказался бы в подобном случае с совершенно иным настроением, но Маурицио был не похож на обыкновенных людей. Всегда живший вдали от шумных и элегантных сборищ, бедный имуществом и богатый чувствительностью, он воздвиг в своем сердце алтарь своей возлюбленной богине — музыке. Ей одной до тех пор он поклонялся с восторгом; лишь ради нее одной до той поры он вкушал жизнь. Но при первой встрече его глаз с глазами юной девушки он испытал новое волнение, которое неудержимо влекло его к ней. Сокровище нежных чувств открылось перед ним, и он отдался ему со всем пылом своей поэтической души. Тем более что языческое поклонение новой богине не сделало его, по крайней мере сначала, неверным старой. Напротив, чем больше он мог упиваться любимым образом, тем больше чувствовал вдохновение к прекрасным творениям. В те дни, в те часы, когда ему казалось, что незнакомка со второго этажа благосклонно отвечает на его безмолвное чувство,

он чувствовал себя как никогда расположенным к возвышенным созданиям фантазии. Любовь и музыка, таким образом, обнаруживали, что могут жить не только в гармонии, но и служить друг другу и совершенствоваться.

Однако он бы бежал из рая, в который его заставила проникнуть судьба! Но времени уже не было; щелчок двери и поднятие тяжелой портьеры дали ему понять, что кто-то входит; шуршание шелка также сказало ему, что входящая принадлежит к женскому полу.

Маурицио казался уже не в этом мире, и по счастью, первой показалась не дочь, а мать. Когда она вошла, портьера естественным образом вернулась на свое место, и больше никто не появился.

Маурицио сначала вздохнул с облегчением, как человек, избежавший опасности; но мгновение спустя он горестно смотрел на портьеру и досадовал на ее неподвижность. Так ведут себя и чувствуют себя влюбленные, и на это не стоит обращать внимания. Впрочем, никто не заметил того, что творилось у него в душе, поэтому он смог ответить с некоторой ловкостью, хоть и несколько рассеянно, на приветствия синьоры Марианны Арменио — женщины незнатного происхождения, но полной жеманства, которое хотело бы быть аристократическим, однако шло ей так же, как фрак с ласточкиным хвостом идет крестьянину в деревянных башмаках. Ее манеры, одежда, прическа на первый взгляд не имели в себе ничего, что не подобало бы благородной даме, но во всех этих вещах явственно проступал порок происхождения. Синьора Марианна в свое время была белошвейкой или кем-то вроде того; когда она встретила синьора Арменио, приказчика в мануфактурной лавке, у нее не было ничего, кроме молодости и хорошенького личика. Арменио со своей стороны был богатейшим... надеждами и жил на них да на жалком жалованье, которое ему выдавал хозяин. Они увиделись, понравились друг другу, влюбились, как два кота. Марианна то и дело забегала в лавку под предлогом посмотреть сорт холста, спросить цену на другой, купить какой-нибудь остаток, который мог бы ей понадобиться; юноша, в свою очередь, не желал отставать в любовной гонке и под тем или иным предлогом тоже наносил визиты красавице. В один прекрасный день, почти сами того не заметив, они оказались мужем и женой, а каморка приказчика превратилась в брачную комнату, где вместо богатой обстановки было столько веселья и любви, сколько можно пожелать на этом свете.

Но если в те первые времена они вели скудную жизнь, у молодого человека все еще оставалось нетронутым его достояние... надежд, а сверх того, он был полон доброй воли. Мало-помалу, с помощью бережливости, толики отваги, толики удачи и усердной работы, он вышел из каморки, чтобы спуститься на четвертый этаж, с четвертого на третий, с третьего на второй. При всех этих спусках его капиталы поднялись; торговые дела, сначала ничтожные, становились все более значительными, а вместе с ними росло и благосостояние. Отвага часто приносит удачу, удача — смелость. Зарабатывая много для человека своего положения, синьор Арменио соразмерно и тратил. А вместе с заработками и тратами пришло и честолюбие. Белошвейка захотела подражать знатной даме. Супруги Арменио очень скоро забыли то, кем они были, чтобы видеть лишь то, кем они стали. Вместе с благосклонностью фортуны их брак был благословлен потомством, не многочисленным и не вполне жизнеспособным. Из троих детей двое умерли во младенчестве; последней была прелестная Лавиния, и на ней сосредоточились все родительские заботы.

Подобно тому как некоторые физические недуги с годами становятся хроническими и неизлечимыми, так и страсть к величию укоренилась в супругах Арменио. Доченьку воспитали ни больше ни меньше как богатую наследницу с полумиллионным приданым. Самые изысканные искусства воспитания были щедрой рукой излиты на это нежное тельце, которое, по правде сказать, казалось созданным именно для этого. Лавиния, полная ума и чувствительности, росла под родительским кровом, скромным, как у скромного горожанина, но со всеми привычками, склонностями, чувствами юной патрицианки. Не знаем, случалось ли когда-нибудь родителям,

в сокровенных беседах или в тайне своих сердец, думать о том, что ко всем этим достоинствам души и ума, ко всей этой нежности им нечего добавить приданого, адекватного в денежном выражении, без которого бедной девушке было бы весьма затруднительно достойно выйти замуж. Но совершенно точно, что Лавиния долгое время верила, что обладает им, или, лучше сказать, никогда не думала, что какой-либо вещи на свете ей недостает.

При входе Марианны Маурицио ответил на приветствие, но остался на месте, прислонившись спиной к мебели и держа шляпу в руке. Совсем иного появления он ожидал, чтобы сразу же овладеть собой при виде пожилой синьоры. К тому же он не настолько хорошо владел светскими манерами, чтобы избежать некоторой неловкости. Но к его счастью, он был не один. При нем был его вождь, поэт-либреттист, литератор, который отлично знал, что надлежит делать. Так что едва Марианна показала кончик носа, как он уже поспешил ей навстречу, весь преисполненный почтения, чтобы поцеловать ей руку и наговорить множество приятных вещей. Марианна была очень чувствительна к похвалам и, целиком поглощенная тем, чтобы принимать каждения Джакомо, дала Маурицио время сделать несколько шагов, чтобы не оставаться более в стороне.

Представление было совершено с той напыщенной фразеологией, какую Джакомо имел обыкновение употреблять, и по знаку хозяйки дома два друга уселись напротив нее, один рядом с другим.

— Я полагала, — сказала Марианна, — что вы придете немного попозже. Лавиния как раз в этот час берет урок танцев; мне жаль, что сегодня она, возможно, не сможет познакомиться со своим новым учителем музыки.

— Но синьор Армению назначил нам именно этот час, и...

— Быть может, он забыл; но как бы то ни было, мы сможем установить дни и часы для уроков, не правда ли, синьор?

— Да, синьора, — робко пробормотал Маурицио.

— Конечно, конечно, — добавил Джакомо, — мы сможем установить. Мой друг готов сделать все, что вам будет угодно.

— Разумеется, — ответил Маурицио, — я могу приходить, когда вы пожелаете. Тем более что у меня нет других...

— Разумеется, — перебил Джакомо, толкнув друга локтем. — Разумеется. У Маурицио нет уроков, которые были бы ему дороже этого. Хотя, как я вам говорил, он чрезвычайно занят; представьте себе: уроки пения, фортепиано, контрапункта, флейты, скрипки, а еще он сочиняет для себя, и еще, и еще... Тем не менее он очень расположен, повторяю вам, подстраиваться под удобство синьорины.

На эту ложь, отчеканенную, как зерна четок, Маурицио остолбенел и не нашел ничего лучше, как склонить голову под благодарности, которые Марианна ему выразила.

— Итак, раз вы так добры к нам, нужно, чтобы вы приходили два раза в неделю: по вторникам и средам, от двух до трех. Остальные дни и часы все заняты. Как я уже говорила, есть учитель танцев, учитель словесности, учитель английского и французского языка, затем учительница вышивания, затем рисование. Утро целиком уходит на то, чтобы выучить уроки и немного привести себя в порядок; добавьте, что два-три раза в неделю мы выходим подышать воздухом — и увидите, что у нас не остается времени перевести дух.

— В самом деле...

— Иной раз, когда я думаю обо всех этих занятиях этой бедной девочки, у меня сердце сжимается от опасения, что здоровье пострадает, но это для ее же блага, поверьте; к тому же этого требует ее большой ум; было бы грешно оставить ее без совершенного образования. А ведь это незаурядный ум, эта девочка; я не из лести говорю, но и вы сами это заметите. Иногда, видя, как она все схватывает на лету, она кажется мне истинным чудом природы, чем-то феноменальным.

И так далее в том же духе, Бог знает, когда бы Марианна закончила, если бы внезапно не подоспел муж. Последний, хотя и питал великую любовь к своему единственному дитяти и сосредоточил на ней все свои заботы, не был таков, чтобы беспрестанно терзать ближнего, распевая ее хвалы. К тому же его половина имела на него, правда, большое влияние в некоторых торжественных случаях, но обычно чувствовала себя ниже и предоставляла ему держать ухват в руках при управлении семьей. Особенно в присутствии посторонних у нее хватало здравого смысла несколько умерять свой язык, чтобы он мог говорить в свое удовольствие. Таким образом, появление Арменио было весьма своевременным, чтобы прервать эту литанию похвал, которую Маурицио и Джакомо должны были выслушивать с разными чувствами, но отнюдь не вполне благоприятными ни для восхваляющей, ни для восхваляемой.

## Глава VII. Отец

Синьор Арменио был человек скорее коренастый, с лицом довольно заурядным, но открытым и веселым. Поэтому с первого взгляда он внушал доверие тем, кому приходилось с ним иметь дело. Увидев, кто находится в гостиной, ему не нужно было спрашивать, в чем дело, и, не тратя времени на пустые разговоры, он протянул руку Джакомо и Маурицио.

— Добрый день, маэстро, — сказал он затем последнему. — Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что вы тоже будете довольны своей ученицей. Но где же Лавиния?

— У учителя танцев. Я оставила ее на минутку, чтобы принять этих господ; но там есть Мария.

Мария была старая воспитательница Лавинии; вырастив ее с детства, она любила ее как родную дочь.

— Я забыл, что как раз в этот час... иначе я попросил бы вас прийти немного позже. Как бы то ни было, раз маэстро уже потрудился прийти, нужно, чтобы они познакомились. А заставлять его ждать до конца урока нельзя. Не правда ли?

— О, для меня... делайте, как вам удобнее.

— Подождем, сколько потребуется, — повторил Джакомо.

— Нет, нет, так не годится. У каждого свои дела, а время — деньги, говорят англичане, и говорят умно. Пойди, Марианна, пойди приведи ее; на минутку урок можно прервать; черт возьми! одним пируэтом больше или меньше — не велика потеря к концу года.

С этими словами он вытащил из кармана серебряную табакерку, кое-где усыпанную мелкими бриллиантами, и, тщательно проведя по ней рукавом сюртука, открыл ее.

— Нюхаете? — спросил он.

Маурицио слегка окунул в табак кончик указательного пальца.

— А вы, добрая душа?

— Возьму понюшку, — ответил Джакомо, протягивая три пальца вместо двух, и добавил: — Однако же красивая у вас табакерка.

— Что касается красоты, нечего и говорить. Это из первых русских табакерок, притом из самых дорогих. Это память об одном превосходном друге, и я бы не отдал ее и за тысячу скудо. А вот и Лавиния.

Это была именно она. Отец бросился ей навстречу, взял за руку, поцеловал в лоб и, подводя к Маурицио, сказал:

— Вот это — ученица. Если бы вы захотели послушать, немного, что она умеет...

Бедный молодой человек при внезапном появлении девушки совершенно растерялся. Он хотел ответить, поклониться, но не мог связать двух слов как следует. К счастью для него, и на этот раз Джакомо был рядом, иначе он бы выдал себя. Со своей страстью совать нос повсюду, Джакомо не дал хозяину дома закончить фразу, ни Маурицио — ответить.

— Непременно нужно послушать синьорину, которая, воображаю, имеет мало или совсем ничего не должна учить. Ну же, синьорина, раз уж мне посчастливилось достать для вас хорошего учителя, вознаградите меня тем, что дадите послушать немного музыки в вашем исполнении.

На столь бесстыдную лесть Лавиния, казалось, нисколько не растрогалась. Только направляясь к пианино, заметила:

— В самом деле, если бы было так, как вы говорите, мне бы не нужно было еще учиться.

Эти весьма разумные слова сопровождались грациозной улыбкой и были произнесены с большим естеством. Присутствие Маурицио, которого она тотчас узнала, не произвело на нее, впрочем, большого впечатления. Только показалось странным, что учитель, выбранный отцом,

оказался именно им. Но, будучи благоразумной и скромной, она не подала никакого знака о мыслях, которые проходили у нее в голове, и о догадках, которым она предавалась.

Маурицио тем временем вновь овладел собой и встал позади табурета Лавинии. Та, сев за пианино, перелистала несколько тетрадей...

— Эти пьесы, — сказала она, — я разучивала с другим учителем, но, можно сказать, не выучила ни одной. Скажите вы, что мне следует попробовать? — добавила она, затем слегка откинув голову назад и показав Маурицио свои большие голубые глаза и прекрасно очерченные зубы, которые белизной своей контрастировали со слоновой костью клавиш, которые она сжимала пальцами.

На этот раз Маурицио не пал духом и, нежно улыбнувшись ей, ответил:

— Что вам больше нравится.

— Сыграю это. Это моя любимая вещь.

И поставила на пюпитр арию «Tutte le feste al tempio» из «Риголетто».

Тонкие пальцы Лавинии быстро забегали по клавишам, но, правду сказать, исполняя эту пьесу, она не проявила ни одного из тех качеств, которые приписывал ей Джакомо. Когда она кончила, Марианна, которой показалось, что дочь сыграла как Лист или Фумагалли, с восторгом приблизилась к Маурицио и...

— Что вы скажете? — спросила она. — Не правда ли, ей немного осталось, чтобы стать одной из лучших пианисток?

— Божественно! — воскликнул Маурицио с такой нежностью, которая походила на восхищение. В самом деле, влюбленный был в эту минуту совсем иным, нежели композитор, и, отвечая таким образом, он отвечал скорее на чувство души, нежели на вопрос Марианны.

— Я же вам говорила? — торжествующе воскликнула та, обращаясь к мужу. — Разве я вам не всегда говорила, что Лавиния играет изумительно?

— Но, матушка моя! — воскликнула та, заливаясь румянцем.

— Никаких «но» не принимается. Правду надо говорить.

— Итак, договорились, — возобновил синьор Арменийо. — Назначили ли вы час и дни для уроков?

— Все уже улажено, многоуважаемый синьор Арменийо, — перебил Джакомо. — Мы уже обо всем договорились. Мы не теряем времени, нет, не теряем!

— Тем лучше, и... кто там?

Прерывание и вопрос синьора Арменийо были вызваны слугой, который показался в дверях, как человек, которому нужно о ком-то доложить. В самом деле, на вопрос хозяина слуга монотонным голосом ответил:

— Синьора Корбенетти.

— Добро пожаловать, синьора Корбенетти! — воскликнул синьор Арменийо, втягивая большую понюшку табаку. — Просите ее сейчас же. Это превосходная синьора, — добавил он затем, — старинный друг дома.

Пока слуга вводил синьору, Джакомо и Маурицио собрались уходить; последний, если бы мог, остался бы там навечно, чтобы созерцать Лавинию в свое удовольствие, но приличия не позволяли ему этого, к тому же для первого визита он задержался даже слишком долго. Поэтому ему пришлось откланяться, следуя за другом, который уже направился к выходу.

## ГЛАВА VIII. Старая курица

Оба, сопровождаемые хозяином дома, посторонились, чтобы пропустить синьору Корбенетти; которая, слегка наклонив голову и пожав руку синьору Армению, поспешила навстречу матери и дочери, двигавшимся к ней.

Обычные поцелуи, обычные приветствия, обычные нежные выражения были обменены между тремя синьорами; обычные, говорим мы, не только для них, но и для всех женщин на этом свете. Которые по большей части в этих случаях лгут — и поцелуями, и приветствиями, и нежностями; и пользуются ими лишь как штукатуркой, чтобы прикрыть истинные чувства души, и мелкие ревности, и завистишки, и досады, что там таятся. При всем этом женщины были, есть и будут всегда лучшим творением матери-природы и милы мужчинам; которым, право, мало дела до того, что они ласкаются и целуются притворно, или чтобы разглядеть вблизи, незаметно, платье, шаль или сережки подруги.

— У вас гости? — спросила Корбенетти.

— Гости — нет, собственно. Это новый учитель фортепиано для Лавинии.

— Кто? Вон тот толстый и круглый, как пуля?

— Нет, другой.

— А кто он такой?

— Некий Альдини, кажется.

— Хм! Никогда не слышала об учителях с такой фамилией. Ничего хорошего из этого не выйдет.

— И все же синьор Ривацио уверяет, что он из лучших, и у него так много уроков, что он не управляется...

— Может быть, но я не верю. С такой внешностью нельзя быть первоклассным учителем, моя милая.

— А почему? — спросила Лавиния, которая, сама не отдавая себе отчета, была уязвлена этим пренебрежением.

— Потому что, моя милая, учитель музыки, *comme il faut*<sup>2</sup>, должен быть элегантным, опрятным, изящным. А ваш синьор... Бальдини, Ладини или как там его, от него, напротив, за версту разит бедой. У него даже нет пары перчаток; представьте себе, даже перчаток! О, какой ужас!

— Можно быть хорошим учителем фортепиано, я полагаю, и без перчаток, — добавила Лавиния, которая была не в милости у синьоры Корбенетти, — тем более что ими не играют.

— Вы слишком молоды, моя девочка, и не можете разбираться в этих вещах. Но, Боже мой! Если бы вы заговорили, если бы вы мне написали хоть словечко, я бы нашла вам учителя хоть куда. Маэстро Ардинолло, например, — вот того приятно иметь рядом. Безупречный музыкант и безупречный джентльмен.

— В самом деле, я как-то раз слышала, как его упоминали, но не помню уже где, — заметила Марианна, которой теперь уже было досадно, что она доверилась Джакомо.

— Ну конечно, вы о нем слышали; это знаменитость. Представьте себе, он бывает в лучших домах. Граф Делла Валле, маркиза Дель Сассо, князь Сан-Просперо, герцог Раданазио — никого другого, кроме него, не приглашают для своих барышень. И нет ни одного концерта или танцевального вечера, куда бы не был приглашен Ардинолло. О, это чудо, настоящая знаменитость, нечего и говорить; и если хотите, мы еще не опоздали. Напишу ему словечко — и завтра же приведу его сюда?

— Нужно бы спросить моего мужа... Но куда же он запропастился?

---

<sup>2</sup> *франц.* — соответствующий правилам хорошего тона

— Вот он, возвращается, мой славный синьор Армению. Подите-ка к нам, у нас есть кое-что предложить вам.

— Все к вашим услугам, синьора Анжелика, — ответил он, протягивая ей открытую табакерку.

Предложение было не вполне учтывым для дамы, но Корбенетти была уже немолода, и синьор Армению прекрасно знал, что она не скрывает от старых друзей своей маленькой слабости к табаку. В самом деле, его предложение было принято естественно, и пока она подносила большой и указательный пальцы правой руки к носу, встряхивая кончик носа остальными тремя пальцами, что было весьма красивое зрелище, синьора продолжала:

— Речь шла бы о небольшой подмене.

— Плохо, плохо, честно говоря, таких подмен не следует делать. Однако послушаем.

— Речь идет просто о том, чтобы заменить учителя, который только что ушел и никуда не годится, другим, весьма способным, моим протеже, композитором первого ранга.

— Но откуда вы знаете, что синьор Альдини никуда не годится? Какие у вас доказательства?..

— Доказательства? Доказательства? У меня нет доказательств, потому что, если я увижу его еще раз, это будет всего второй раз.

— И что же?..

— Итак... у вашего учителя внешность, которая мне не нравится, и он не может быть хорош.

— Если против него есть только внешность, не стоит торопиться с суждениями. Если Лавиния не будет извлекать пользы из его уроков, если у него не окажется хорошего метода, словом, если мы увидим, что он действительно не хорош, тогда мы поговорим и примем во внимание ваше любезное предложение. Но сейчас это было бы некрасиво, особенно по отношению к другу, который взял на себя труд найти его для нас.

— Браво, папа!

— Неужели Лавиния взяла его под свою защиту? — заметила синьора Корбенетти с легким оттенком досады.

— Совсем нет, — воскликнула Лавиния, покраснев как земляника. — Просто мне не кажется правильным отказывать человеку без причины, после того как мы заставили его потрудиться и прийти сюда ради нас.

— Ну что ж, Лавиния говорит правильно... раз уж он здесь, надо его испытать. Если он будет плохо учить, повторяю...

— Не нужно, не нужно. Что касается меня, можете себе представить, что я не могу иметь ничего против этого молодого человека. Я только хотела, раз представился случай, оказать услугу моему славному Ардинолло и подарить вам хорошего учителя для Лавинии. Но не будем больше об этом говорить. Когда решите, что вам нужно к нему обратиться, скажите мне, и я всегда буду готова сделать вам приятное. А пока вы не знаете, зачем я пришла сегодня к вам.

— Вероятно, чтобы доставить нам удовольствие своим визитом, — заметил Армению, снова протягивая ей открытую табакерку.

— Благодарю. Дорогой синьор Армению, не только ради визита, но и для того, чтобы попросить вас об одолжении.

— Мы готовы.

— Говорите, говорите, Анжелика, — поспешила добавить Марианна, — и если мы можем, что бы то ни было...

— О, это пустяки, если мы захотим. Послезавтра четверг, кажется?

— Да.

— А потом пятница, ваш приемный день?

— Конечно.

— Итак, я должна представить вам одного моего друга, прекрасного господина, который желает с вами познакомиться.

— Очень охотно, премного охотно. Представленный вами, он не может не быть хорошо принят в нашем доме.

— Право, не нужно было нас предупредить заранее. Ваши друзья вполне достойны быть и нашими.

— Я прекрасно знаю, как вы добры и любезны со всеми и особенно со мной. Но в том, что касается представлений, я строга до щепетильности. Правда, что синьор Педретти — человек безупречный, и вы, синьор Арменийо, должны с ним еще познакомиться.

— Что? Неужели это наш домовладелец?

— Именно. Если помните, это я указала вам эту квартиру; я много лет знаю синьора Педретти и всегда находила его прекрасным человеком.

— Его внешность, правду сказать, не очень располагает. Говорят также, что он немного скуповат; но все это ничего не значит. Это честный человек, пользующийся большим доверием на бирже.

— И он очень богат.

— Разумеется. Итак, когда вам будет угодно привести его, он будет желанным гостем.

— Беру вас за слово — послезавтра.

— Значит, послезавтра, если вам так угодно.

— Вы уже знаете, что я тороплива по натуре. Вчера, когда я встретила его на улице, он сообщил мне о своем желании. Близился вечер, и времени прийти предупредить вас уже не было. Но я сказала себе: в пятницу у Арменийо приемный день; завтра среда; пойду к ним, и мы все устроим. Так и случилось. А теперь я вас покидаю; у меня столько дел до обеда, что я не знаю, хватит ли времени.

— Как? Так быстро?

— Не могу иначе.

— Ну же, еще немножко.

— Не могу, честное слово. Послезавтра я приду снова, как и сказано, и задержусь дольше, но сегодня ускользаю. Прощайте, Марианна; прощайте, Лавиния; дай я поцелую эту прекрасную щечку. Милашка, она вся — лилии и розы! До свидания, синьор Арменийо. Дайте-ка мне еще одну понюшечку из вашей красивой табакерки — и я пойду.

— Будьте здоровы.

— До скорого свидания.

— До свидания.

## ГЛАВА IX. Сердечные тайны

Маурицио, возвращаясь домой с головой, полной Лавинии, чувствовал себя блаженным. Присутствие друга, какого бы то ни было другого существа, стало бы ему в тягость; поэтому он под каким-то предлогом отпустил Джакомо.

Проходя мимо каморки привратника, он не увидел Чечилии, которая подстерегала его. Она следила за ним глазами, когда он шел в дом Армению, и, скорее угадав, нежели зная, терпеливо дожидалась, пока он выйдет. Сердце девушки было уже уязвлено безвозвратно. Она никогда не открывала своих чувств, но давно привыкла жить неопределенной надеждой. Для ее счастья достаточно было видеть Маурицио каждый день, говорить с ним, заниматься с ним, слышать его голос, дышать одним с ним воздухом. Когда ей пригрозили, что она должна будет оставить его, Чечилия ощутила боль в сердце. Она попыталась взять себя в руки, чтобы победить свое горе, но не смогла. Побуждаемая этой острой болью, она пришла к нему без всякой иной цели, кроме как поговорить с ним еще раз с привычной доверчивостью.

Бедняжка никогда не могла бы подумать, что на ее слезы можно ответить равнодушием, и не заподозрила бы, что на свете есть кто-то другой, кто мог бы наполнить сердце Маурицио. Но, обнаружив это, менее добрая часть ее натуры взяла верх. Чечилия была мстительна, как дикарка, и капризна, как ребенок; и по-детски же отомстила, перевернув вверх дном все, что попало ей под руку. Затем, следя покрасневшими от слез глазами за его шагами и увидев, что он вошел под арку большой лестницы, вспышка света открыла ей то, чего она никогда не подозревала. Она устремила взволнованной мыслью к прекрасной юной особе, о которой говорил Джакомо, — и большего не требовалось. Чечилия видела ее несколько раз, когда та выходила с няней или с матерью, и испытывала к ней чувство неприязни. Она завидовала в Лавинии красивой внешности, элегантной одежде, благородной и достойной походке. Теперь же, заметив, что завистница к тому же отнимает у нее Маурицио, ее мечты, ее бессонные ночи, неприязнь возросла в тысячу раз. Если бы могла, она тотчас отправилась бы перевернуть вверх дном этот проклятый дом и выцарапать глаза прекрасной девице в шелковых нарядах. В этот миг дурное расположение духа без притворства изображалось на ее лице. Маурицио ничего не заметил и почти не обратил внимания на то, что она здесь.

Молодой человек быстрыми шагами поднялся к себе на четвертый этаж. Он был слишком блажен, чтобы заботиться о чем-то земном, ибо чувство, которое целиком им владело, было воистину не от мира сего. Поэтому хаос, царивший в его жилище, не произвел на него никакого впечатления. Разбросанные листы, опрокинутые стулья остались там, где были. Маурицио было недосуг наводить порядок. Он поспешно, чуть ли не в исступлении, принялся искать чернильницу и, как только первый попавшийся лист бумаги оказался у него под рукой, начал писать ноты, вернее, изливать на бумагу сокровище, которое переполняло его душу. Никогда еще он не чувствовал такой потребности стать великим в искусстве, и ноты следовали одна за другой с лихорадочной поспешностью. Если бы кто-нибудь увидел его тогда — уже не стесненного докучливыми взглядами посторонних, с его черными, вьющимися волосами, небрежно взлохмаченными, что в тысячу раз предпочтительнее женоподобной прически франтов; если бы кто-нибудь проследил за тем, как хмурился или разглаживался его широкий лоб, за тем, как сверкали его большие, очень черные глаза, — словом, за всей внешностью молодого маэстро в этот торжественный миг творения, тот не мог бы не остаться восхищенным. Если бы к тому же этот свидетель принадлежал к прекраснейшей половине человечества, он непременно не смог бы не влюбиться в него без памяти. Но в той комнате, кроме него самого, никого не было; и он не положил пера, пока не переложил целиком всю идею, которую внушила ему Лавиния.

Когда он кончил, то подошел к пианино и попробовал сделать свое творение слышимым для уха — и, надо признать, остался доволен. Есть нечто в гении, что открывается ему самому,

даже при величайшей скромности и более чем умеренной оценке человеком своего достоинства. А Маурицио был как раз из тех, кто не может не сознавать собственной силы. В тот день он уже не владел собой. Богатый своими новыми воспоминаниями, он не испытывал иной потребности, кроме как поддерживать их живыми. В тот день он не ел, не пил, не выходил. Он боялся соприкосновения с людьми, словно оно могло осквернить чистоту его чувств. Одним словом, он грезил наяву, точно так же, как грезил ночью с закрытыми глазами.

Скорее это походило на чрезмерность страсти, нежели на страсть зарождающуюся. Если бы вы спросили его, каковы его намерения, каковы надежды и опасения, он, вероятно, не смог бы ответить. У него не было ни намерений, ни надежд, ни опасений — он любил так, как можно любить лишь в раю.

На следующий день он проснулся более спокойным. Долгая ночь населила его фантазию прекраснейшими снами, вышедшими из дверей из слоновой кости, и они еще не совсем рассеялись при его пробуждении. Что за беда, если ему предстоит бороться с нищетой, вырывать жизнь урывками, чувствовать себя рожденным для великих дел, когда никто его не понимает, не помогает, не рукоплещет? Он любит Лавинию — и довольно. Как избранный народ имел во тьме ночи чудесный столп огненный, который вел его к свободе, так образ Лавинии, отныне воцарившийся в его мозгу и сердце, надежно сопровождал его сквозь тернии человеческих страданий. Его музыка — плод долгих бдений, в которые он излил сокровища фантазии, — лежала запыленная в его комнатенке; его маленькое состояние почти истощилось; ни одна надежда дать о себе знать еще не приходила порадовать его; и все же он пел. Открывая глаза, ему чудилось, что он видит реюющие в воздухе вуали, которые окутывали его Лавинию; ему чудилось, что он слышит шлейф ее одежд, звуки ее серебряного голоса; ему чудилось, что он смотрится в лазурь тех глаз, полных сладкой и невыразимой печали, — и им овладело великое желание петь, и он запел. Он пел, просыпаясь; пел, одеваясь; и пел еще, когда Джакомо снова принялся стучать в его дверь.

## ГЛАВА X. Приятное предложение

— Ну, как дела? — сказал тот, тщетно разыскивая стул, который стоял бы прямо.

— Очень хорошо, — ответил Маурицио.

— Что за черт вы здесь натворили? В этой комнате все вверх дном. Даже сесть нельзя.

— Правда, — воскликнул другой, с удивлением оглядываясь вокруг. — Как же это так?

— Что вы меня спрашиваете? Если вы сами не знаете!.. Посмотрите: тут такой беспорядок, что можно сравнить с полем после битвы. Вы шутите? Ни одной вещи на своем месте.

— И тем не менее я ничего не трогал со вчерашнего утра!

— Тогда хаос образовался сам собой. Ничего удивительного: мы живем в век вращающихся столов, говорящих стульев, в век спиритизма и пара... Но вернемся к нашим делам, милый мой, не будем смущаться; оставьте все как есть, потому что на то, чтобы навести порядок, потребовалось бы слишком много времени, и слушайте меня.

— Я весь во внимании.

— Вы довольны уроком, который я вам раздобыл?

— Премного доволен, это хорошо. Я так и предполагал, и больше ничего не нужно. Но не об этом я хотел сказать. Я хотел вам сказать, что отныне я взял вас под свою защиту и намерен во всем делать вам добро.

— Тысяча благодарностей.

— Не за что. Вы мне просто симпатичны; к тому же вы славный молодой человек, у которого есть ум, фантазия, и *\*les beaux esprits se rencontrent\**, как говорят французы.

— Но не хотите ли вы мне сказать...

— Перейду сразу к сути, раз вы этого хотите. Вчера, когда мы расстались, я встретил маэстро Ардинолло почти у самого этого дома. Вот кто, видите ли, молодой человек с великим будущим для итальянской музыки, истинный гений, человек, который заставит забыть великого Россини: однажды я видел собственными глазами знаменитого автора «Севильского цирюльника»; я видел его собственными глазами на расстоянии, равном тому, что сейчас между мной и вами. Словом, он любит меня всей душой и, когда видит, всегда первый останавливает меня.

— Кто, Россини?

— Что вы! Ардинолло; вы ведь хорошо его знаете, не так ли?

— Разумеется, мы вместе учились в консерватории в Неаполе у Меркаданте. И скажу вам больше: мы отнюдь не были друзьями... то есть, это он. Что до меня, я никогда не испытывал к нему ни ненависти, ни любви и, прежде всего, никакой зависти, тогда как он, казалось, досадовал, видя, что я сочиняю быстрее, чем он умел, и угождаю учителю. Я до сих пор помню, что если он мог сделать мне какую-нибудь мелкую пакость, то изощрялся в этом. Но это такие мелочи, о которых не стоит и думать; теперь он — модный учитель; уже целую вечность я его не видел и не питаю к нему никакой злобы. И что же вам сказал Ардинолло?

— Он сказал мне, что получил заказ написать новую партитуру для Королевского театра. Я тотчас предложил ему мою «Саламинскую битву» в трех актах и шести картинах, но не умолчал, что у меня есть обязательство перед вами.

— Передо мной? — удивленно повторил Маурицио.

— Перед вами, перед вами. Правда, третьего дня вечером мы говорили об этом мельком, но это ничего не меняет. Сын моего отца, если дал слово, держит его, даже с жертвами. И хотя Ардинолло готов заплатить за мою «Саламину» золотом на вес, я не захотел уступать ему ее, не переговорив прежде с вами, мой дорогой Маурицио.

Маурицио не мог удержаться от смеха при этой выходке поэта.

— Вы ведь знаете, — добавил он, — что я не мог бы заплатить за ваше либретто даже бумагой на вес, и...

— Ничего не значит; раз я сказал, что хочу вас опекать, я сказал это не зря. Если не сможете заплатить сразу, заплатите в два, в три срока, как вам удобно.

— Спасибо, мой добрый Джакомо, но я не могу принять ваших щедрых предложений.

— Вы неправы, потому что с моей «Саламиной» вы стали бы бессмертным, не приложив к тому никаких усилий.

— Что ж, терпение, останусь смертным; такова уж участь всех людей.

— Итак, вы не хотите ее?

— Нет; к тому же, сказать вам по правде, уже некоторое время я занимаюсь тем, что сам пишу либретто и сам же сочиняю к нему музыку. Если у меня получится, думаю, это будет лучше, чем пользоваться чужими словами и мыслями.

— *Verba, verba, praetereuntque nihil*<sup>3</sup>.

— То есть?

— Ничего! Хочу сказать, что говорил на ветер. Но неважно. Так и быть, вернусь к вашему старинному другу Ардинолло и уступлю ему полное право на мою «Саламину» — и баста. А на какой сюжет ваше либретто?

— Это секрет! По крайней мере, пока я не буду уверен, что у меня получится.

— Уважаем секрет. Хотите пойти со мной сегодня вечером на концерт синьоры Федовны?

— Мои концерты я теперь устраиваю себе сам, — ответил Маурицио, указывая на ноты и пианино. — Но благодарю вас за ту заботу, которую вы обо мне проявляете.

— А ты все со своими благодарностями. Когда я сказал вам, что я друг и желаю вам добра, вам что, кажется, что меня нужно благодарить? А то велико дело — пригласить вас на концерт, который стоит пять франков.

— Ах, стоит пять франков! Вот еще одна причина, и самая главная, которая помешала бы мне воспользоваться вашим любезным приглашением.

— Потихоньку. Если я говорю «идите», значит, билет есть. Я друг той синьоры, которая поет как Бог на душу положит, но которая очень любезна. Это я, знаете ли, пишу ее похвалы в «Пирате» и в «Фаме», поэтому она дарит мне столько билетов, сколько я захочу. Бедняжка не понимает, что, заставляя меня быть свидетелем ее фальшивых нот, она отягощает мою совесть больше прежнего. Но неважно; я умею в нужный момент закрыть глаза; если бы не так, в этом воровском мире такому честному человеку, как я, не выжить. Словом, вы согласны, да или нет?

— Нет.

— Мне жаль; мы бы провели прекрасный вечер вместе. Я уже объявил о приглашении синьорам Армению.

— Кому?

— Синьорам, что напротив, куда мы вчера ходили. У меня было несколько билетов, которые нужно было пристроить, и я подумал: синьор Армению не может мне отказать; дочь страстно любит музыку; мать отдала бы ей луну, если бы та попросила. Поэтому пойдём и предложим им билеты на концерт Федовны. И вот я сейчас от них, и...

— И они согласились?

— Даже не спрашивайте. Едва я открыл рот, синьор Армению полез в кошелек и отсчитал мне 15 прекрасных франков, которые я вместе с другими отнесу моей певице. Более того, мне лучше пойти сейчас, иначе я не застаю ее дома. Итак, прощайте, мой добрый Маурицио. До завтра мы не увидимся...

---

<sup>3</sup> лат. Слова, слова и ничего больше

— Но, в самом деле, если подумать получше, не было бы такой уж беды, если бы и я воспользовался вашим предложением.

— Правда? Вы действительно согласны?

— Но...

— Ну, тем лучше; будьте сегодня вечером в восемь в «Кафе де Пари», я зайду за вами.

— Договорились.

— Смотрите у меня, если вы будете — хорошо; если не будете — я пойду один.

— Я буду.

Достаточно было отдаленнейшей надежды увидеть Лавинию, чтобы выманить Маурицио из его уединения. Теперь же уверенность была полной, и он за час до назначенного времени уже стоял на часах у «Кафе де Пари». В свое время появился Джакомо, расфранченный и надушенный, с видом коновала, разодетого в праздничное платье, — далекий от того, чтобы выдать в себе автора «Саламинской битвы».

Двое друзей отправились в путь. По дороге Джакомо, по своему обыкновению, ни на мгновение не умолкал, избавляя Маурицио от необходимости отвечать. Что пришлось весьма кстати, ибо у того было другое на уме, кроме болтовни.

Войдя в зал, он жадно обвел глазами толпу, чтобы обнаружить ту, которая одна только, как ему казалось, достойна восхищения. Это помешало ему сравнить свой скромный наряд с нарядами элегантных господ, заполнивших просторную залу. Он был еще весь поглощен этими поисками, когда сам Арменийо приблизился к Джакомо и с тем добродушным видом, который был ему свойствен, сказал:

— А вот и наш славный синьор Джакомо! Вы тоже пришли на концерт?

— Об этом ли спрашивать? Если меня здесь нет, то кому же быть? А синьоры тоже здесь? Куда вы их спрятали?

— Вон там, в первом ряду. Мы пришли пораньше, чтобы занять хорошие места.

— Очень хорошо сделали.

— Идите, идите, они будут рады вас видеть.

— Я с вами. — предупреждаю Маурицио, нашего учителя музыки.

— И он здесь?

— Разумеется. Я вытащил его из его берлоги, чтобы он немного пожил среди людей. Он славный малый, но у него медвежья натура. Куда же он запропастился, что я его не вижу? Хм! Наверное, уже нашел себе место. Увижу его позже. Пойдемте пока засвидетельствуем почтение синьорам.

— Идемте.

С этими словами синьор Арменийо прошел вперед, а другой за ним, и они пересекли залу вдоль, пока не достигли цели. В нескольких шагах от синьора, спиной к стене, Джакомо тотчас увидел молодого композитора. Который, влюбленным оком издали заметив золотистые волосы и алебастровые плечи своей богини, как сказал бы поэт-маринист, и отбросив свою природную робость, пробился к ней.

— А, вы здесь? Я вас потерял. Вы меня бросили как дурака.

— Простите... но я хотел...

— Вы хотели пробиться самостоятельно, и прекрасно сделали. Вот и синьор Арменийо, который как раз спрашивал меня о вас.

Маурицио, не зная, что лучше сделать в своем замешательстве, отвесил синьору Арменийо глубокий поклон. Тот же, сердечно пожимая ему руку и предлагая понюшку табаку, сказал:

— А, и вы здесь на концерте? Мне это очень приятно. Видите, в двух шагах от вас ваша ученица. Лавиния, — добавил он, обращаясь к дочери, — здесь учитель, он хочет поздороваться.

Маурицио, почти против воли (ибо был достаточно счастлив уже тем, что видит, оставаясь незамеченным), приблизился, приветствуя без той грации, какую проявляют молодые люди в подобных случаях. Кровь бросилась ему в лицо до самых белков глаз, пока он произносил несколько слов, и, сказав их, почти не дожидаясь ответа, вернулся на прежнее место.

Лавиния, для которой Маурицио стал чем-то более ценным после того дурного отзыва, что она слышала о нем от Корбенетти, обошлась с ним благосклоннее обычного; она встретила его грациозной улыбкой и грациозной улыбкой же отпустила.

Мать же, которая после тех разговоров и несдержанных похвал Ардинолло стала смотреть на учителя своей дочери недобрый глазом, была вежлива, но холодна. Чего, впрочем, Маурицио не заметил, как не заметил бы и своей вины.

Джакомо, напротив, приблизился к синьорам, пожал им руки и принялся рассуждать, в сотый уже раз за день, о своей дружбе с синьорой Федовной, о билетах, которые он пристроил, о своей «Саламинской битве» и о тысяче других подобных вещей. А поскольку позади них в этот момент оказалось два свободных стула, он без церемоний уселся и пригласил Маурицио занять место рядом с собой. Что же до синьора Армению, тот, не будучи в состоянии ни стоять на месте, ни сидеть — ни в театре, ни в каком другом публичном месте, — уже удалился.

Зал между тем наполнялся, все стулья были заняты. Тем не менее все прибывали новые синьоры, к великой досаде тех, кто уже устроился поудобнее и надеялся, что их не побеспокоят. Но цивилизация требовала не оставлять синьор стоять; и когда замечали какую-нибудь из них, блуждающую между рядами в поисках стула, мужчинам приходилось уступать свои.

Одной из последних, по обыкновению, появилась синьора Корбенетти в сопровождении своего протеже, маэстро Ардинолло, который считал за честь предлагать ей руку везде и всегда. Она перешагнула роковой сорокалетний рубеж уже добрых пять или шесть лет, и, с глазу на глаз с доверенными лицами, еще позволяла себе нюхнуть табачку; однако она умела прибегать к таким ухищрениям, особенно если помогала прическа, выбивавшаяся из общего ряда, что никто не мог бы предположить истинного ее возраста. С помощью целой армии пластырей, мазей, настоек, духов, фальшивых и крашенных волос Корбенетти заставляла дату своего рождения отступить назад — и отступить довольно значительно.

Корбенетти не была замужем, не была вдовой, или, лучше сказать, была и тем и другим одновременно, поскольку и у нее был муж — как у многих, — но муж, который уже давно жил сам по себе. Не стоит сейчас вдаваться в причины этого раздельного жительства. Но полезно заметить, что оно не мешало Корбенетти быть хорошо принятой повсюду и пользоваться некоторой властью над теми, с кем она общалась. Будь то потому, что люди более снисходительны к пороку, нежели к добродетели; будь то потому, что в этом раздельном жительстве не было ничего или почти ничего позорного; будь то, наконец, что всего вероятнее, благодаря приданому, с которым синьора Корбенетти, покидая супружеский дом, унесла с собой, — так или иначе, все ей кланялись, а молодые люди ухаживали за ней, не навлекая на себя ни презрения, ни насмешек. Среди поклонников, которые сменяли друг друга с удивительной частотой, любимцем в ту минуту был как раз маэстро Ардинолло. Именно он принимал гостей, когда синьора устраивала приемы; он же был ее кавалером в театре, на прогулке, на балах, в беседах. Злые языки, которые чаще всего угадывают, утверждали, что этот элегантный учитель разыгрывает свою роль ради того, чтобы добыть себе хорошие уроки.

Как бы то ни было, покровительство старой кокетки помогло ему пробить себе дорогу в свете. Прежде чем познакомиться с нею, он с большим трудом вырывал ровно столько уроков, сколько хватало на скудное пропитание в течение месяца; после знакомства с ней он в короткий срок стал модным учителем, гением музыки, чем-то, словом, божественным в искусстве. С недавних пор те, кому удавалось сказать: «учитель моей дочери — Ардинолло», и те, кому удавалось посадить его за пианино в своей гостиной в вечер беседы, были блаженны,

будто дотронулись до неба пальцем. И все это потому, что Корбенетти действовала и руками, и ногами, чтобы выставить его напоказ, представляя, рекомендуя и воспевая его во всех тонах.

Правда в том, что Ардинолло обладал непомерной гордостью, знаниями — скудными, музыкальным гением — никаким. Он был из тех многих, кого встречаешь повсюду, кто ломает себе шею и тратит лучшие годы жизни, чтобы стать врачами, адвокатами, живописцами, учителями музыки или кем им заблагорассудится, не имея от природы качеств, подобающих тому искусству или науке, которым они себя посвящают; не имея ни надежды, ни вероятности, что в этом искусстве или науке они найдут вознаграждение за столько трудов и расходов. Так и Ардинолло, если бы не обрел столь действенного покровительства в лице Корбенетти, весьма вероятно, извлек бы лишь жалкую выгоду из тех каперсов, которые он выстраивал на пяти линейках, словно солдат на параде.

Синьора Корбенетти, как женщина себе на уме, всегда дожидалась входа в театр или зал, когда все уже успокоится. Таким образом она ухитрялась внезапно отвлечь внимание присутствующих и сосредоточить его целиком на себе. Правда, после сорока взгляды молодых людей уже не останавливались на ней с тем восхищением, полным желанием, которое она умела внушать в двадцать лет, но они все же смотрели, и это было уже немало для женщины, которая нюхала табак и хотела слыть еще молодой.

Поэтому и в тот вечер Корбенетти так долго задерживалась со своим туалетом, чтобы войти в зал именно в тот момент, когда певица патетически исполняла первую арию своей программы. Во всей зале, какова она ни есть, можно было услышать пролетающую муху, поэтому прибытие Корбенетти не могло пройти незамеченным; тем более что если она давала о себе знать шелестом платья, то ее кавалер поднимал дьявольский шум, скрипя своими лакированными сапогами. На внезапный шум многие обернулись, а некоторые даже зашикали. Это были те, кто заплатил за вход и хотел развлекаться; это были друзья и покровители певицы, среди которых первым следует назвать автора «Саламинской битвы». Который, сперва не сообразив, что этот досадный шум исходит именно от того, кому предстояло положить эту битву на музыку, принялся шикать громче всех — и чтобы придать себе авторитетный вид, и по праву, которое давало ему знакомство с певицей. Тем не менее дерзкая парочка ничуть не смутилась и, не найдя мест в последних рядах, двинулась дальше и прошла непреклонно в другой конец зала, прямо туда, где Джакомо сидел в свое удовольствие. Сколько бы он ни любил того, кто должен был привести его прямо-прямо к бессмертию, он мысленно послал его ко всем чертям, ибо тот явился в столь неудачный момент и помешал ему. Но поскольку выбора не было, он нехотя встал и, потянув Маурицио за одежду, тихо сказал:

— Идите, надо уступить место синьорам.

И выйдя с другом, указал Ардинолло, что тот может воспользоваться освободившимся стулом. Любезное предложение было принято без колебаний, тем более что Корбенетти, узнав приятельниц, не могла дожидаться, когда можно будет пустить в ход свой язык и представить им Ардинолло — учителя по преимуществу. Досадуя на холодность, которую Армению выказали ее протеже, она теперь с некоторым усердием хотела доказать им, что они были совершенно неправы.

Тем временем синьора Федовна кончила петь свой номер, и хотя исполнила она его именно так, как Бог на душу положит, нашлись доброжелатели, которые ей похлопали.

— И вы здесь? — тотчас начала Корбенетти, поместив свою чернейшую шевелюру между матерью и дочерью. — Право, не ожидала такого удовольствия.

— А почему бы и нет? — спросила Марианна.

— Потому что в последний раз, когда мы виделись... когда это было? Позавчера... да... вы мне ничего об этом не говорили.

— Тогда еще не знали, что будет концерт. Только вчера вечером мой муж пришел домой с билетами...

— Если бы я знала, я бы достала их для вас через маэстро, и мы пришли бы вместе. Что поделайте: мне посчастливилось найти это место. Что вы скажете, а, об этом концерте? Много народу, не правда ли?

— Даже слишком. Жара...

— Тут и лучше, и отличнейшие. Посмотрите на графиню Брестелли, вторая в третьем ряду; она как петрушка — везде ее можно найти. А маркиза Дель Фано, и баронесса Салетти; Салетти хорошенькая, не правда ли? Жаль, что у нее приплюснутый нос; к тому же сегодня вечером с этими белыми перьями и бархатной ленточкой она выглядит ужасно; похоже, у нее на голове турецкий тюрбан. Кстати, тех господ, которые уступили нам место, мне кажется, я уже видела где-то.

— Это мой учитель фортепиано, — сказала Лавиния с некоторым удовлетворением.

— Ах, поняла: тот учительшка, которого вам навязал...

— Тише, — сказала синьора Армению, — не видишь разве, что они в двух шагах от нас?

— И что мне за дело? Это же не оскорбление... Что я такого сказала плохого?

— Она назвала его «учительшкой»! — воскликнула Лавиния, покраснев-раскрасневшись.

— Ну и что? Я-то виновата, что он не учитель хоть куда? Повторяю вам, его никто не знает, а здесь есть один, кто может дать хорошее свидетельство. Маэстро, — сказала она затем, обернувшись к Ардиолло, — слышали ли вы когда-нибудь упоминания о синьоре... как его там?

— Маурицио Альдини, — ответила Марианна.

— Слышали ли вы когда-нибудь, что синьор Альдини — хороший учитель фортепиано?

— О... — сказал Ардиолло с пренебрежительным видом, — он бедный дьявол, который много занимается, но до сих пор не сделал ничего, что можно было бы назвать музыкой.

— Слышите? — воскликнула Корбенетти.

— Несколько лет назад мы вместе были в Неаполе, и, право, не могу сказать, чтобы он чем-то выделялся, кроме того, что всегда носил один и тот же сюртук.

— А? Что вы на это скажете? Когда я говорю что-то, невозможно, чтобы... Но раз уж мы здесь все вместе, позвольте мне, Марианна, представить вам маэстро Ардиолло... Синьора Армению и ее дочь... барышня, полная ума и прелестей.

— Ради всего святого! — воскликнула Лавиния, закрывая лицо вышитым батистовым платочком.

— Не хочет, чтобы пели ее хвалы, эта милая горлица; но я скажу, потому что это правда.

— Таким образом она показывает, что к прочим своим достоинствам добавляет еще и скромность.

Было бы бесполезно и, возможно, утомительно повторять слово за словом льстивые комплименты Ардиолло матери и дочери, а также болтовню Корбенетти, с трудом прерываемую, когда начинали снова петь или играть. Скажем вместо этого, что Марианне и Лавинии пришлось принимать участие в разговоре больше, чем хотелось бы Маурицио, который с тех пор, как его вынудили уступить место (которое он не променял бы и на рай) и уступить его Ардиолло, с которым у них никогда не было добрых отношений, почувствовал, как в сердце вонзилась стрела. Видеть же, как тот задерживается особенно возле Лавинии, улыбается ей, делает ей те ужимки, которые в глубине души ничего не значат, но приняты в среде элегантных людей, было для бедного Маурицио невыносимой мукой. Если бы он привык жить в свете; если бы он знал по опыту, что некоторые вещи не только терпимы, но и требуются, он не был бы так огорчен. Но он всегда жил со своими книгами, со своей музыкой, со своим пианино; поклонение Лавинии было первым, которое он воздал какой-либо женщине, и он не был уверен, что богиня его принимает.

Бог Израиля, как рассказывают, в знак того, что он благосклонно принимает жертву, заставлял падать с неба огонь, который пожирал ее. У Маурицио не было никакого знака, и огонь, который пожирал его, был внутри него самого. Какой-то взгляд из окна — даже если он был не случайным и не простым любопытством, — был слишком мал, чтобы построить на нем надежду, и был ничем в качестве прикрытия для ревности. Да, ревности. Ибо Маурицио впервые в жизни ощутил в сердце ее острую боль; так что если раньше он испытывал к Ардинолло лишь равнодушие или презрение, то в этот вечер он почувствовал, как в душе его растет нечто весьма близкое к ненависти.

Он мог бы, даже должен был бы уйти оттуда, поскольку зрелище так оскорбляло его, и никто не заставлял его оставаться; тем не менее он не сумел оторвать плечи от стены и простоял недвижимо до конца концерта. От которого, как можно поверить, он не наслаждался ни одной нотой, хотя неизменно отвечал утвердительно на восклицания и замечания, которые Джакомо время от времени всовывал ему в уши.

Когда все поднялись, чтобы уходить, и синьор Армению приблизился, чтобы проводить дам, Маурицио оставался на месте как потерявший память, и Бог знает, какой вид он бы имел, если бы его наставник не толкнул его в локоть. Покорно следуя за другом, он спустился по лестнице в толпе, никого не видя, и очнулся только от голоса Лавинии, отвечавшей на приветствия, которыми при расставании осыпали ее Корбенетти и Ардинолло. Но и это только послужило тому, чтобы уязвить его сильнее, ибо он подоспел как раз вовремя, чтобы услышать, как мать возобновляет для Ардинолло любезное приглашение навещать их, — приглашение, которое не преминули вторично поспешно принять.

Очувшись в своей комнатенке, Маурицио сел за пианино, пытаясь извлечь из него новые созвучия, но не смог; взял перо, чтобы сочинять, но не сумел поставить на бумагу ни одной ноты. Сердце было уязвлено, вдохновение умерло! Склонив голову на грудь, опустив руки, он долго пребывал в мучительном раздумье, пока одна слеза, медленно упав из зрачка, не потекла по его щеке. То была всего одна слеза, но слеза горше полыни и желчи!

## ГЛАВА XI. Представление

Франческо Педретти, владелец палаццо Галлиполи, в синем пальто и новых серых шерстяных штанах, в назначенный день и час отправился к синьоре Корбенетти, которая должна была привести его в дом Армению. Педретти было лет пятьдесят, но он их не показывал; он был крепок, плотен и выгодного роста; если не считать мелочной души, в его внешности не было ничего отталкивающего. Поэтому в этой одежде — отчасти новой, отчасти обновленной — он выглядел не так уж дурно. К этому можно добавить свежевыбритую бороду и толстую золотую цепь — не новую, правду сказать, но сделанную нарочно с обильным количеством материала, если не с изысканной работой, чтобы бросаться в глаза.

Вооруженный таким образом со всех сторон, славный Педретти явился в дом Армению. Нечего и говорить, как любезно его приняли, тем более что в этом семействе все были таковы. Хозяйка, рада поболтать с подругой, которая была городской газетчицей, была сама любезность; муж не отставал в дружеских изъявлениях и тотчас заговорил с Педретти о делах. Разговор за разговором, прошло добрых полчаса, и Педретти, хотя ему и не хотелось, уже собирался откланяться. Да и сама Анжелика, по правде сказать, которая исполняла свою роль без особой охоты, предпочла бы, чтобы старикашка убрался восвояси. Однако, видя, что ей уже невозможно отделаться от него без неудобства, и понимая — а это было и в самом деле так, — что главная цель визита еще не достигнута, она воскликнула:

— А где же эта милая радость, Лавиния?

— Занимается, — ответила мать с важным видом.

— Занимается, занимается; и все та же песня. Но разве вы не знаете, что вы доведете ее до чахотки этими занятиями?

— Но, Боже мой, у нее, бедняжки, столько уроков в день...

— И кто вас заставляет так ее перегружать? Оставьте, позвольте мне пойти немного развлечь ее...

— Но...

— Никаких «но». Надеюсь, вы не отпустите меня, не дав обнять ее.

С этими словами, не дожидаясь позволения, она встала и вышла. Хорошо зная дом, ей не нужно было, чтобы кто-то указывал дорогу, так что в мгновение ока она вернулась, ведя девушку под руку. Та, с неохотным видом, давала понять, что покинула свою комнатку отнюдь не добровольно.

Кто бы знал доподлинно, чем она занималась в своей комнате, тот не удивился бы, если бы внезапное появление Анжелики или кого-либо другого оказалось ей не по нраву. Все думали, что она корпит над книгами и нет у нее иной заботы, кроме как учить уроки, которые ей добыли с таким великим изобилием. И сама Анжелика, злобная, как Люцифер, войдя в комнату и увидев ее сидящей за столиком, сплошь покрытым бумагами и книгами, чисто-сердечно поверила, что дело обстоит именно так. Но правда в том, что столик был поставлен под окном, а окно выходило во двор, и напротив было другое окно, не только открытое, но и занятое одним из ее учителей, и, быть может, самым дорогим из всех, какие у нее были.

В самом деле, Маурицио, оставив в стороне сочинительство, писанину и все прочее, уже не мог оторваться от того окна, из которого в свое удовольствие видел все, что делается в комнате его возлюбленной.

После этого не стоит удивляться, что Лавиния неохотно оторвалась от того восхитительного окна, чтобы пойти знакомиться с синьором Педретти. Тем не менее, поскольку не было честной причины отказать от приглашения, после недолгих уговоров Лавиния должна была смириться и последовать за этой любопытной Анжеликой.

— Вот он, этот ангелочек. Если бы не я, Бог знает, сколько времени она еще просидела бы среди своих книжек! Видите, синьор Франческо, это милое создание? Было бы настоящей потерей, если бы вы ушли, не познакомившись с ней.

Педретти низко поклонился, как человек, который безоговорочно соглашается, и не смог скрыть своего удовлетворения при виде прекрасной девушки. Он был не слишком многословен, особенно в общении с людьми состоятельными и, прежде всего, с дамами; тем не менее при этом случае он пустил в ход весь свой словарь любезностей и вежливостей. Глядя, как он рядом с Лавинией тает в уверениях и комплиментах, и извивается всем телом, чтобы придать своим речам больше убедительности, легко можно было уподобить его тем дрессированным медведям, которые на ярмарках своими ужимками очень забавляют крестьян и наполняют деньгами карманы хозяина. Судя по тому, как повернулось дело, можно было подумать, что он и не думает уходить оттуда, хотя ранее выказывал желание удалиться. Но поскольку все, что имеет начало, имеет и конец, даже этот визит должен был закончиться, и без излишнего промедления, чтобы не равняться с визитом святой Елизаветы. И на этот раз отставку дала именно синьора, и он не смог противиться.

Простившись и направившись к лестнице, Корбенетти не удержалась от того, чтобы не разразиться громким смехом, и воскликнула:

— Ей-богу, если бы не я, вы бы пустили корни у красавицы Лавинии.

— И вправду красавица, — серьезно заметил Франческо. — И притом такая разумная и скромная, что, право, совсем не похожа на нынешних девушек.

— Я же вам говорила? — возразила Анжелика со своим обычным торжествующим видом. — Я же вам говорила? Я очень рада, что, судя собственными глазами, вы не сочли меня преувеличенной.

— Право, вы были совершенно правы. Эта девушка — чудо, по крайней мере, на первый взгляд.

— Вот он опять со своими сомнениями. Вы что же, не доверяете мне, которая столько времени торчу в этом доме? Доверяете или нет?

— Доверяю, конечно; а почему бы мне не доверять? Может быть, потому, что вы сначала не слишком охотно соглашались помочь мне? Но вы знаете, что я привык к вашим капризам не со вчерашнего дня, которые, впрочем, никогда не мешали вам оказать услугу другу... когда вы имеете в этом свой интерес.

— Язык у вас как помело! Какой у меня может быть во всем этом интерес? — воскликнула Анжелика с натянутой улыбкой. — С вами нельзя ни выиграть, ни сыграть вничью!

— Истина, сударыня моя, я люблю истину; и не сомневайтесь, что я не утаю ее от вас ни при каких обстоятельствах, потому что...

— Полно, полно, оставим шутки, — перебила Анжелика, которой не нравилось, что диалог принимает такой оборот. — Оставим шутки; займемся вашим делом. Итак, раз уж начали, давайте запалим фитиль, и что надлежит сделать, сделаем в наши дни.

— Потихоньку, моя дорогая синьора Корбенетти, потихоньку.

— Что значит «потихоньку» и «не потихоньку»? Вы заставляете меня делать все, что вам угодно; вы хотите смотреть, чтобы на вас смотрели, а потом начинаете колебаться. В делах нужно быть решительным. Мир создан для тех, кто не мешкает.

— Вы прекрасно говорите, сударыня моя прекрасная, но речь-то идет не о том, чтобы взять понюшку табаку.

— А что тут нужно? Я беру все на себя. Если вы согласны, завтра же пойду к Марианне и выложу ей все дело как есть.

— Нет, синьора Анжелика, не нужно торопить события. В моем возрасте нужна осторожность. У меня седые волосы, знаете ли; с седыми волосами иные вещи следует хорошенько обдумывать.

— Для меня делайте как вам угодно, мне-то все равно. Имейте, однако, в виду, что от чрезмерной осторожности седые волосы станут белыми, и тогда будет еще труднее...

— Но позвольте мне хотя бы еще раз зайти туда. Черт возьми, женитьба — это вам не рубашку сменить.

— Вы шутите? Когда я выходила замуж, это произошло с вечера на утро.

— И тем не менее...

Анжелика, видя, что дело принимает дурной оборот, не дала ему закончить фразу и сказала:

— Довольно, оставим это; иные вещи лучше не ворошить. Итак, вы хотите еще посмотреть, изучить, обдумать?

— Еще немного, синьора Анжелика, еще немного, а потом я решусь.

— Хорошо, будь по-вашему. Как бы то ни было, повторяю, что я всегда буду к вашим услугам.

— Верю вам и благодарю. Более того, обещаю вам не делать ни шагу без вас.

— Я бы еще посмотрела на это; после того, как я так много сделала, чтобы вы вернулись в этот дом и познакомились... словом, я бы не хотела даже предполагать, что вы оставите меня в сторону, в старый хлам.

— Но кто же так думал? — воскликнул Франческо с некоторым нетерпением. — Мне кажется, я говорил как раз обратное.

— Ладно, ладно, оставим шутки. Вы прекрасно знаете, что мне нет никакого дела до того, чтобы вмешиваться в это дело; достаточно, чтобы оно свершилось; а уж через мое посредство или через чужое — это все равно. Что до вас, повторяю, подумайте хорошенько; сходите, но то, что вам надлежит сделать, сделайте быстро, потому что, мне кажется, вам нечего терять время. Зима приближается большими шагами, дорогой мой.

— Знаю это, увы, слишком хорошо.

— А у огня хорошо сидеть.

— Знаю и это, — ответил Франческо, лукаво улыбнувшись.

— Если вы все знаете, то больше ничего и не нужно. Вы осторожны и предусмотрительны, но волк теряет шерсть, а не порок; вы придете ко мне через некоторое время, и с другими намерениями в голове. А пока я вас покидаю и благодарю за приятную компанию. Мы как раз у дома, а я задержалась дольше, чем думала. Готова поспорить, что маэстро ждет меня уже полчаса. Прощайте, синьор Франческо, дайте руку и до свидания.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.